

Владимир Тендряков

ПОКУШЕНИЕ
НА
МИРАЖИ

В

СОВРЕМЕННОСТЬ





БИБЛИОТЕКА РОССИЙСКОГО РОМАНА

Владимир Тендряков

ПОКУШЕНИЕ
НА
МИРАЖИ

Роман

МОСКВА
«СОВРЕМЕНИК»
1989

ББК 84Р7
Т33

Т 4702010200—186 **КБ—3—55—89**
М 106(03)—89

ISBN 5—270—0069—3 © Оформление, издательство «Современник», 1989

Из непроглядных временных далей течет поток рода людского, именуемый Историей. Он несет нас через наше сегодня дальше, в неведомое.

В неведомое? Ой нет, не совсем! Далекое проступает уже сейчас, только надо уметь его видеть — великое через малое, в падающем яблоке — закон всемирного тяготения.

Кто в 1820 году обратил внимание на сообщение Эрстеда, что стрелка компаса резко отклонилась к проволоке, по которой пропущен ток?.. Людей тогда волновала судьба Наполеона, доживавшего последние дни на острове Святой Елены, убийство герцога Беррийского. А стрелка компаса... экая, прости господи, чепуха. Но от нее вздрогнула История, началась новая промышленная эра, электричество вошло в жизнь и изменило ее, изменился мир, изменились мы сами.

А щепотка урановой соли, случайно засветившая фотопластинку Беккереля... А «безумные» прожекты скромного учителя из Калуги — вырваться из объятия Земли!..

Течет поток рода людского. Куда? Какие силы гонят его? Безвольные ли мы рабы этих фатальных сил или у нас есть возможность как-то их обуздать? Мучительные вопросы бытия всегда вызывали страх перед будущим. Он прорывался в легендах о всемирном потопе, хоронящем под собой человечество, в кошмарах, откровениях от Иоанна, в жестоких расчетах Мальтуса. И хотя активная жизнедеятельность людей побеждала этот страх, но тревога за свои судьбы не исчезала, и загадки бытия не становились менее мучительными.

Чем дальше, тем меньше человек зависел от внешних сил, тем сильнее он ощущал: опасность кроется в нем самом. Не кто-то и не что-то со стороны больше

всего мешает жить, а непреходящая лютая взаимонесовместимость.

И мы теперь острее, чем прежде, осознаем, что между обыденно житейскими конфликтами иванов ивановичей с иванами никифоровичами и глобальными катаклизмами мировых войн существует глубинная связь, то и другое — нарушение общности.

Разобщенности же во все времена противопоставлялась нравственность. Испокон веков на нее рассчитывали, к ней неистово призывали. Но мы уже устали от громогласных призывов, по-прежнему не уверены ни в себе, ни в своем будущем. Куда занесет нас бурное, все ускоряющееся течение Истории, в какие кипучие пороги, в какие гибельные омуты?..

Грядущее проступает уже сейчас: в малом — великое! Как разглядеть его неброские приметы? Приметы надвигающейся опасности, приметы обнадеживающие и спасительные. И прежде всего приметы возрождающейся нравственности, без нее невысказана жизнь.

Будущее проступает уже сейчас — такова особенность развития. Чтобы уловить робкие приметы этого будущего, надо, как ни парадоксально, вглядываться назад, в истоки нынешнего. Только тогда можно понять, как оно изменчиво и куда эта изменчивость приведет. Грядущее проглядывается через прошлое.

Несет время род людской, позади, по реке Прошлого, в фарватере Истории, остаются человеческие маяки. Каждый что-то собой отмечает. По ним легче всего ориентироваться. И следует ли отворачиваться от их архаического света, если даже он и кажется нам иллюзорным?

СКАЗАНИЕ ПЕРВОЕ

О несвоевременно погибшем Христе

Перед вечером море Галилейское замирает: волны отбегают от оглаженных валунов, обессиленно лежат на гальке, лишь бесшумно вздыхают. По берегу красные, прокаленные скалы рвутся из сочной зелени, над ними сведенные судорогой сосенки обнимаются с жирными олеандрами.

Вспыхивают весла на солнце, гонят неуклюжую рыбацью барку. Путь недалек, в ближайший городиш-

ко Вифсаиду, он уже виден впереди — по склону лепятся друг над другом плоские крыши и клочковатые садки. В барке десяток мужчин, рыбаков из Капернаума. На носу в прямой посадочке человек — тщедушен, опален солнцем, закутан в длинный выгоревший плащ. Он недавно появился в этих местах и вызвал шум. Мария из Магдалы, которую он вылечил от бесноватости, бегала по побережью и громко славил его имя.

По земле Палестинской издавна бродили пророки, вещающие надежды, грозящие гибелью. Теперь их едва ли не больше, чем в старину. Тетрарх Ирод-Антипас только что отрубил голову пророку из Иудеи Иоанну, жившему в пустыне, носившему верблюжью власяницу, крестившему водою из Иордана. Во всех концах страны ропщут на Антипаса. А рядом в беспокойной Самарии объявил себя мессией некто Досифей, столь свято соблюдавший благочестие, что совсем отказался от пищи, ходят слухи — то ли помер от голода, то ли все-таки еще нетленно жив. Досифян много, и все они шумно славят учителя. И вот новый пророк пришел сейчас из Иудеи, встречался там с Иоанном, родом же, однако, из Назарета.

Назарет близко, день пути, и того не будет. И вошел он в поговорку: «Не жди из Кесарии привета, а путного из Назарета». В богатой языческой Кесарии сидит римский прокуратор, а в Назарете живут крикуны и путаники. В Капернаум этот назаретянин вошел тем не менее с толпой, ребятишки бежали впереди и кричали петушинными голосами:

— Осанна! Осанна!..

Пророк шел по берегу легким, прыгучим шагом и неожиданно остановился. В воде выбирали сеть в лодку братья Ионовы — Симон и Андрей. Запутавшаяся рыба жгуче вспыхивала под низким солнцем.

— Идите со мной, — сказал пришелец, — ловцами человеков сделаю вас.

Старший из братьев, Симон, сурово посмотрел на пророка, стоявшего на берегу. Тот был неказист на вид, мал ростом, длинная одежда мешковато спадала с узких плеч, и лицо худое, темное, с перекошенным носом, но красила его улыбка, а взгляд черных блестящих глаз был прям и весел.

— Кто ты? — непочтительно спросил Симон.

— Сын Человеческий.

Симон молча взялся за весла, подгреб к берегу.

Теща Симона в тот вечер болела, жаловалась на голову. Гость наложил ей на темя руки, поговорил, снял боль, та сразу повеселела, стала собирать на стол.

Братья Ионовы совсем недавно перебрались сюда из Бетсаиды, привезли с собой недобрую славу — согрешили в субботу. Пророк не только сел с ними за стол, но и посадил еще подобранного на дороге мытаря Матфея-Левия сына Алфеева. Нет презренней службы, чем мытарь — сборщик податей: бродячие псы, они охраняют Иродовы законы, нарушают Моисеевы — дерут мзду со всякого, степенного и богатого не пропускают, бедного не милуют.

Бен-Рувим, человек благочестивейший и очень ученый, не переступив порога, укоризненно заговорил в распахнутую дверь:

— Разве ты не знаешь — не сядят фиговое дерево среди лозы и злак среди осота? Что они родят тогда?

— Тебе не нравится, с кем я сижу? — спросил пророк.

— Зовешь себя Сыном Человеческим, а сидишь с грешниками и мытарями, ешь с ними хлеб, пьешь вино! Сын Человеческий усмехнулся:

— Не здоровые имеют нужду во враче, а больные. Я пришел призвать не праведников, но грешников.

И не только сидящие за столом удивились, в толпе, стоявшей за спиной Бен-Рувима, раздалось:

— Авва!..

А в стороне от всех несмелой тенью качался под звездами убогий Маной. У него плетью висела правая рука, и был он кожевник и давно уже не занимался своей работой. Он слышал, что назаретянин исцеляет, об этом кричала бесноватая Мария из Магдалы. Маной хотел просить исцеления, но не смел тревожить пророка.

В конце субботнего дня, как всегда, собирались в синагоге. И Бен-Рувим решил здесь уличить нового пророка. В синагоге он был хозяином, даже хазан, престарелый Манасий, сильно робел перед ним. Кроме того, Бен-Рувиму донесли: утром пришелец, называющий себя Сыном Человеческим, ходил с учениками по полям, и за-

метили — кой-кто из них походя срывал колоски. Да, да и в день субботний!

Для сынов израилевых нет более святой, более вечной заповеди, чем четвертая заповедь из тех, что переданы Моисею Иеговой: «А в день седьмый — суббота Господу Богу твоему: не делай в оный никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришелец, который в жилищах твоих». Антиох Епифан — да будет проклято имя его! — запретил евреям праздновать субботу, грозил лютыми казнями. И евреи уходили в пещеры, там праздновали. Однажды отряд, высланный Епифаном, наткнулся в пустыне на идущих отметить день покоя. Многие из евреев были вооружены, но ни один даже не коснулся меча — подставляли головы и умирали, лишь бы не осквернить субботу. Меч, поднятый в защиту, — тоже работа, а потому все до единого полегли, остались верны Закону.

Сорвать колосок в поле, пусть даже и невзначай, — малый, но труд, грех перед благочестием. И в синагоге Бен-Рувим напомнил перед всеми слова Моисеевы:

— Всякий, кто делает дело в день субботний, да будет предан смерти.

Он устремил взгляд в сторону, где в окружении учеников сидел назаретянин, посмевавший называть себя Сыном Человеческим.

— Ответь нам, прохожий: правда ли, те, кого ты учил, нарушили сегодня субботу, рвали на поле колосья? Ответь, но остерегись спасти себя ложью!

Назаретянин встал, и тишина нависла над ним. Не все глядели на него с враждой. Кто не без греха: сорвать колосок — малость, случится, и не заметишь, но с субботой не шутят. Малое может обернуться большой бедой. Назаретянин медленно двинулся к кафедре, невысокий большеголовый, в тяжело обвисшем, собравшем пыль иудейских дорог плаще, босые ноги мягко ступают по каменным плитам.

Он не дошел до кафедры, развернулся лицом к людям. И люди затаились, лишь задние тянули шею. Лицо пророка было спокойно и строго, глаза блуждали по собравшимся, и те, на ком они задерживались, смущенно отворачивались.

На самом заднем ряду сбоку на скамье пристроился Маной, здоровой рукой покоил на коленях мертвую руку, взгляд его был тоскующе влажен, как у овцы, отбившей-

ся от стада. Назаретянин кивнул ему, позвал внятно:

— Иди сюда!

Маной вздрогнул и не посмел двинуться.

— Иди!.. Стань на середину.

Тогда Маной зашевелился. Он давно уже не мог подыматься с легкостью, всегда с лишними движениями, всегда с натугой. Но поднялся, двинулся вперед с опаской, волоча непослушные ноги, и рука бескостно болталась вдоль тела.

Он встал рядом с гостем и уронил голову. А гость словно забыл о нем — снова вглядывался в людей.

— Должно ли в субботу добро делать? Или зло делать? — громко спросил назаретянин. — Вот он, видите?.. — указал на Маноя. — Спасти в субботу его или погубить?

Молчание в ответ, только настороженно скрипели синагогские скамьи.

— Суббота для человека или человек для субботы?..

Несмелая тишина.

— Руку! — Маной резко, окриком. — Протяни руку!

Бескостная рука Маноя шевельнулась и поднялась...

Никто почему-то не ахнул, не удивился. Похоже, сам Маной тоже.

Гость взял его ладонь.

— Мне подал руку — подашь теперь каждому. Только надо сильно желать. Что богу до тех, кто ничего не желает, даже здоровья себе... — Он оттолкнул от себя Маноя. — Иди!.. Смелей, смелей! Ты человек, как и все!

И Маной пошел, его качало от изумления, и руку он нес приподнятой, боялся опустить.

— Посему Сын Человеческий есть господин субботы! — возвестил гость и двинулся вслед за Маноем.

Капернаум славил пророка, а Бен-Рувим был посрамлен. Симон гордился, что назаретянин остановился в его доме. Женщины сходились к источнику с кувшинами и толковали о том, что Сын Человеческий — тот самый, кого выжидали евреи многие века. Он послан Иеговой вернуть величие дому Давидову...

И все знали: пророк двинется дальше, сначала в соседнюю Вифсаиду — с закатом солнца, подгадывая к

вечеру, чтоб под новым кровом собрать новых слушателей.

Но еще днем Бен-Рувим послал в Вифсаиду своего человека к знакомому фарисею Садоку...

...Вифсаида ничем не отличалась от других глухих галилейских городишек — кремнистые тропинки сбегают от одной плоской хижины к другой, обрываются на берегу просторном и каменистом. Но жила Вифсаида наособицу. Неширокий здесь Иордан отделяет ее от всех, за спиной громоздятся спаленные горы, земля обетованная кончается тут, а потому каждый житель Вифсаиды с особым рвением старался хранить Закон.

Из этого упрятого в дальний угол городка если и уходили в Иудею, то не пророки, а секарии, презиравшие слово, действовавшие кинжалом. Наказав смертью отступников благочестия, они спешили возвратиться сюда. Вифсаида укроет и от римлян и от слуг первосвященника — горы здесь дики, в них полно незримых расщелин и потаенных пещер.

Самый благочестивый в Вифсаиде — фарисей Садок, не похожий на всех других фарисеев, покрытых жиром и гордыней. Он жилистый, обгоревший на солнце, как головешка, ходит во вретисце, ест что придется, не ищет себе ни выгоды, ни славы. Его боялись по всему побережью вплоть до суетной и спесивой Тивериады. И шепотом поговаривали: Садок может протянуть руку даже к Иерусалиму.

Слух о новом пророке долетел и сюда, судили, гадали и ждали, как отзовется о нем Садок. И тот заговорил словами Иезекииля:

— Пророки твои, Израиль, как лисицы в развалинах. Они видят пустое и предвещают ложь, говоря «Господь сказал», а Господь не посылал их... И будет рука моя против этих пророков, видящих пустое и предвещающих ложь...

После полудня, когда жара стала спадать, из всех домов начали стягиваться к берегу. Виноградари забыли о своих виноградниках, кожевники бросили свои замоченные кожи, рыбаки не собирали сети к вечернему лову — топтались на берегу, переговаривались, вглядывались в море, ждали — не покажется ли лодка.

Она показалась, когда за далекими отсюда Кармельскими горами солнце стало погружаться в зеленые воды великого моря.

Весла, вырываясь из воды, тревожно отсвечивали на закате. С каждым взмахом барка приближалась к берегу. Сосредоточенное молчание нарушил Иоанн, младший из сыновей Зеведеевых, которых за неумеренную восторженность и шумливость Сын Человеческий назвал недавно «сыновья громавы».

— Весь город высыпал! — выкрикнул Иоанн радостно.

Серьезный Симон, радовавшийся и огорчавшийся только про себя, обронил:

— Не нравится мне.

— Не нравится, что встречают учителя? — возмутился Иоанн.

— Слишком дружно встречают.

Толпа на берегу была настораживающе неподвижна — ни одного взмаха руки, никто не бежит к воде, чтоб первому встретить нового пророка, — сплоченно стоят. И Симона поддержали:

— Вифсаида не любит гостей.

— В ней никому не верят.

— Даже друг дружке только по праздникам.

— Разбойный город.

И юный Иоанн, «сын громовый», растерянно промолчал.

— Учитель наш, — сказал Симон, — похоже, недоброе там затеяли.

Учитель из Назарета, сидевший на носу, оглянулся с блуждающей улыбкой. Он не боялся толпы, он верил в свою силу над ней.

— Берег близко, — ответил он. — Высадите меня и поверните прочь, если боитесь.

— Я останусь с тобой, учитель! — воскликнул Иоанн.

Симон недовольно помолчал и сдержанно возразил:

— Куда нам поворачивать? Глаголы жизни вечной у тебя.

Под носом барки закрипела галька.

От толпы отделилось десятка два мужчин. Впереди, наструненно прямой, несущий на своих плечах рубище, как Аарон червленые ризы, выступал Садок. Он подошел к самой воде.

— Тот, кто называет себя Сыном Человеческим, пусть выйдет на берег. Остальные останутся в лодке.

За спиной усохшего Садока стояли рослые и хмурые вифсаидцы а дальше сплоченная толпа...

— Нас очень мало, учитель,— тихо обронил Симон.

— Кто может спасти того, кто пришел спасти других? — возразил Сын Человеческий и полез из барки.

Симон поспешно выпрыгнул в воду, подхватил на руки учителя, перенес на берег. За ним перемахнул через борт Иоанн.

— Ты слышал, Симон сын Ионы!.. Ты знаешь, что Садок из Вифсаиды не любит повторять дважды!

— Разве я один могу помешать вам? — спросил Симон.

— Ты нам просто не нужен, как и тот безбородый, который поспешил за тобой.

Учитель кивнул Симону на лодку:

— Уходите... Им легче иметь дело с одним.

— Каждый может взять камень, учитель...

— Для этого еще надо нагнуться. Уходите в лодку оба!

И Симон повиновался, подтолкнув Иоанна к барке, сам следом вскарабкался через борт.

— Лучше будет, если вы отплывете подальше. И совсем хорошо, когда вернетесь назад,— посоветовал Садок.

Но барка не двинулась с места.

Садок тронул за рукав пророка, и они направились к толпе, оба низкорослые, неторопливые, одинаково преисполненные достоинства. За ними, с хрустом давя гальку, вышагивали сопровождавшие.

Толпа при приближении зашевелилась, раздвинулась и вновь сомкнулась, скрыв учителя от учеников.

Вплотную тугая пустота, ее сжимает плотный круг лиц, безбородых и бородатых, мужских и женских, старчески немощных и налитых угрюмой силой, родственно схожих нелюдимой настороженностью. Много ли тут счастливых? Есть ли хоть один в этом слитном круге? У каждого наверняка своя беда, свои горести, большие иль малые. Беды разные, а страдания у всех одинаковы, одни и надежды — о благополучии, о справедливости. Он дерзнул прийти к ним, позвать в вымечтанное царство, где нет несчастных, нет ни обидчиков, ни обиженных, но вот обложен со всех сторон, как опасный зверь.

И Садок окружен вместе с ним — толпа предоставила ему право судить. Садок понимает: ежели не осудит, не справится, сам будет судим.

Толпу, да похоже, и Садока озадачивает спокойствие гостя — стоит в пустоте, маленький, нелепый, в тяжело обвисшей одежде, беззащитно жалкий, но глаза не прячет, затравленно не озирается и не храбрится вызывающе. Прост до оторопи, до смущения.

— Ты называешь себя Сыном Человеческим? — Слова Садока, как железные, скрежещут друг о друга.

— А чьим сыном я могу быть? Или ты сам не из рода человеческого? Или я не похож на тебя? — Он отвечал не напрягая голоса, однако внятно, слышно всем.

— Правда ли, что ты говорил: послан от Бога?

— Правда.

— И после этого считаешь — я похожу на тебя? Кто из нас посмеет сказать людям: меня послал Бог?! Таким был один Моисей.

— Ты ошибаешься. Каждый из нас послан на землю Богом.

Толпа заворуженно замерла, а Садок озадаченно промолчал. Но он ничуть не смутился, он еще только прошупывал приезжего, не наносил удара. Теперь пришло время...

— Называл ли ты себя господином субботы? — спросил он.

Ответ сразу, без запинки, без раздумья:

— Называл.

Общий гневный выдох, за ним перекатом угрожающий гул по толпе. Садок поднял руку, темную, со скрюченными пальцами, как птичья лапа.

— Разве ты дал нам субботу, что считаешь себя господином ее?

— Дал ее Бог мне и вам.

— Ты присвоил себе Богово. Берегись, прохожий!

— Смерть ему! — режущий визг из толпы. Самый нетерпеливый, самый неистовый объявил о себе.

Но птичья лапа Садока властно заставила умолкнуть.

— Как я мог присвоить то, что мне дано? — по-прежнему негромко и вятен голос гостя. — Раз Бог дал нам субботу, то она уже наша. Суббота для человека, и мы ее господа.

Визг не повторился, толпа молчала, сотни глаз обес-

покоенно разглядывали отчаянного. И Садок взмыл над молчащей толпой:

— Значит, всякий может распоряжаться субботой как хочет?!

Летучие мыши пронеслись над толпой, бесшумны и бесплотны в застойном воздухе, словно клочья нарождающейся черной бури среди обмершей природы. В насыщенной ожиданием тишине спокойные и обидно будничные слова:

— Если ты дашь мне динарий, то кто будет распоряжаться им после этого — ты или я?

— Суббота не динарий, прохожий!

— Как и ты не Бог. Но даже ты не станешь настолько мелочным, чтоб дать и не разрешать пользоваться. Неужели Бог мелочнее тебя, человек?

Теснящиеся вокруг недружно зашевелились, заоглядывались. Лица, лица, но они уже утратили родственную схожесть, они все выражали разное: изумление, страх, озадаченность, колебание (вот-вот согласятся с прохожим) и прежнее ожесточенное недоверие. Толпа перестала быть единым телом, распалась на людей — разных, предоставленных самим себе.

Садок стоял гневно-прямой, тянул шею, обжигал взглядом странного пророка, не изрыгающего проклятия, не грозящего всевышними карами, не возвышающего даже голоса — роняющего лишь тихие и такие обычные, понятные всем фразы.

— Ты опасней чумы, прохожий! — скрежещущий голос. — Куда ты зовешь нас? Поступай как хочешь, как хочешь проводи субботу, как хочешь живи! Ничто не запрещено, все дозволено — можешь убить, лжесвидетельствовать, прелюбодействовать с чужой женой... Каждому все разрешено!

Начавшая было распадаться толпа всплеснулась в едином негодующем ропоте, вновь монолитно слилась, задние начали давить на передних, упругое кольцо дрогнуло, заколебалось, стало сжиматься. И в этом враждебно неустойчивом, конвульсивно живом кольце скрежещуще гремел Садок:

— Зачем людям Закон?! Зачем людям единый Бог, если каждый сам по себе — как хочет? Каждый для себя вместо Бога! Вот к чему ты зовешь, прохожий!

И взрезался острый визг того неистово-нетерпеливого:

— Смерть ему!.. Сме-ерть!!

Казалось бы, он, неистовый, наконец-то дождался момента, но нет — рано. Снова вскинулась птичья лапа Садока.

— Пусть ответит!

— Пу-у-усть отве-е-ети-ит!!! — грозным обвалом из сотен грудей.

Обрушившийся обвал долго рокотал, раскатывался, не мог утихнуть. Молчал пророк, ничтожно жалкий перед вздыбленной яростью, молчал, с покорным терпением ждал тишины. И она наконец наступила — неустойчивая, обжигающая, дышащая гневом.

— Если каждый примет в себя Бога, как тогда можно будет обидеть кого-то? В каждом человеке — Бог, каждого уважай, как Бога! — Он выкрикнул на этот раз громче обычного, боясь, что не успеет, не будет услышан.

Его услышали, толпа угрожающе ахнула — оскорблены за Бога: впустить его, великого, в себя, ничтожных, — да как он смеет! Угрожающее изумление всплеснулось и не опало, а уже Садок, напрягая жилы на тощей шее, заблаговестил:

— Слушай, Израиль!!! Он хочет, чтоб мы имели — сколько людей, столько и богов! Посрами язычников, Израиль! Откажись от единого Бога! Не сам ли сатана перед нами?!

— О-он!.. О-он! Вельзевул!!! — Толпа закипела, ломая круг, стеная и давя друг друга.

И тряс над головой немощными кулаками Садок — судья, призванный народом:

— Спасай, Израиль, веру свою!!

— Сме-е-ерть!!! — режущий визг, захлебывающийся от счастья.

— Сме-е-ерть!! — громово отозвалась на него толпа.

Сын Человеческий, стоявший внутри яростной кипени, впервые опустил голову. Он не хотел видеть, как люди нагибаются, подбирают камни.

Никто не должен касаться руками нечестивого. Для таких преступников против веры у евреев была лишь одна казнь. Камни полетели со всех сторон. Сын Человеческий упал...

...Он уже перестал шевелиться, а камни все еще летели в него. Камни отцов, камни матерей, камни детей...

Садок тоже бросил свой камень. Никто не смей остаться в стороне!

При такой казни виновников нет. Гнев народный — гнев Божий.

Сидевшие в барке и видели и слышали, но не посмели заступиться. Их кучка, а расправлялся народ. В каждого вместе с ужасом прокрадывалось и сомнение: а праведным ли был их учитель, собиравшийся спасти других, но не спасший себя? Сам Господь допустил...

Симон оттолкнулся веслом, спихнул барку с галечника. Тихо отплыли. Никто их не окликнул, никто о них не вспомнил.

Южная ночь не вкрадывается, а бесшумно обрушивается. Она скрыла лепящийся к скалам жалкий городишко, каменистый берег, забросанный камнями изуверенный труп.

Убийство вопреки Истории.

Он должен был прожить еще три года, взбудоражить Галилею, сказать свою Нагорную проповедь, зовущую — «люби ближнего своего и врага своего», появиться в Иерусалиме, испытать предательство одного из учеников и уже только тут мученически погибнуть, как презренный раб,— на кресте. Затем воскреснуть в своих продолжателях, «смертию смерть поправ».

Ничего этого не случилось — пророк из суетного Назарета не стал Иисусом Христом, не прошел из поколения в поколение по тысячелетиям, не возвеличен людьми до бога. Как много подвижников, не успевших доказать свое, ныне напрочь забыто!

Убийство противу всей Истории, какую мы знаем. И нет, не жители далекой Вифсаиды повинны в нем. Непредусмотренное убийство совершено из XX века, из наших дней. Причем людьми вовсе не враждебно-злыми к его памяти и, право же, не мстительно-жестокими по натуре.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

1

Однажды вы заметили седину на своих висках и не очень тому удивились — как-никак возраст. Седина не пропадет, морщины не разгладятся — это идет необратимое Время.

...На месте том,
Где в гору подымается дорога,
Изрытая дождями, три сосны
Стоят — одна поодаль, две другие
Друг к дружке близко...

Пушкинских сосен уже нет возле села Михайловского, как нет там скривившейся мельницы, нет извозчичьих лошадей, гусаров, фельдъегерей, крепостных мужиков, дворян, царей, нет и самого Александра Сергеевича, его детей... Идет необратимое Время.

Идет и оставляет следы: египетские пирамиды, холм Гиссарлык, камни римского Колизея...— памятники былого честолюбия, геройства, страданий, возвышенных и низменных страстей, бурлившей и остывшей жизни. Идет необратимое Время.

Я принадлежу к тому разряду людей, которых противопоставляют лирикам. Тридцать два года назад, не успев снять лейтенантские погоны, с вызывающей независимостью выдавшего виды фронтовика на физиономии и трусливым смущением пригодишки в душе я вступил в святая святых — известный московский вуз, стал студентом физико-математического факультета. Физика тогда уже подарила не очнувшемуся от ужасов войны миру первую из своих безобразных дочерей — атомную бомбу, вторую, водородную, вынашивала. К этому родовспоможению я прямого касательства не имел, в дальнейшем занимался только чистой теорией, был одним из многих избранных, кто пытался объять необъятное: призрачные элементарные частицы и необозримую Вселенную мечтал заключить в едином охвате. Было всякое: и восторги, граничащие с безумием, перед непостижимой гармонией сущего, и приступы отчаяния перед бессилием и обмирания перед зыбкой надеждой. Сильных эмоций в моей жизни было куда больше, чем расчетливых прозрений. Не только у поэтов чувственное получает перевес над рассудочным.

Мне постоянно приходилось оперировать временем, символ «t» был составной частью едва ли не всех формул, какие создавал сам и заимствовал у других. Оно, время, непостоянно и богато сюрпризами. Протон и электрон не подвержены его влиянию, практически вечны, а, скажем, пион существует невообразимо короткий миг — долю секунды с шестнадцатью нулями после запятой. Но и эта супермгновенная жизнь столь же нужна мирозданию, как и жизнь вечных частиц. Космонавт в полете живет чуть-чуть медленнее, чем его товарищ на Земле. И в просторах Вселенной есть колодцы — черные дыры, куда время как бы проваливается и застывает в бесконечности.

Относительность времени вне нас, вокруг нас, внутри нас. Миллион лет или много более того понадобилось нашим далеким праотцам, чтоб создать себе грубое рубило, несколько сотен тысячелетий — чтоб вооружиться луком и стрелами, а за какой-нибудь неполный десяток тысяч лет в бурном темпе промчались к теории относительности, к космическим ракетам! Природа подарила нам разум и получила взамен динамичность.

Наше время... Насколько известно, люди почти никогда не бывали довольны своим временем, с завистью вглядывались или в прошлое — мол, вот тогда-то была жизнь, не чета нынешней, золотой век, — или с надеждой в будущее. Проницательный Белинский с неосторожной восторженностью заявил: «Завидуем внукам и правнукам нашим, которые станут жить в 1940 году...» А в том году уже шла самая жесточайшая из человеческих войн — вторая мировая.

Я тоже хотел бы знать, что станет с нашими правнуками через сто лет, но ошибка Белинского остерегает от оптимистических прогнозов. Чтоб хоть как-то понять будущее, следует обратиться к прошлому, уловить в нем особенности развития. Ньютон к концу жизни обратился к богословию. Эйнштейн увлекался игрой на скрипке, сочинял бесхитростные стихи, Оппенгеймер изучал санскрит, ну а я кинулся с головой в историю, искал в ней счастливые моменты.

В некоторых солидных работах я наткнулся на многозначительные слова «золотой век энеолита». Еще не возникло рабство, еще не произошло резкого разделения на богатых и бедных, а распространившееся земледелие — хорошо ли, плохо — кормило людей. Но кто из нас удо-

влетворится таким ненадежным благополучием, которое добывается мотыгой, зависит от малейших капризов природы: дождя не вовремя, случайного града, свалившейся засухи. Золотой век — ой ли?..

Счастливейшими в истории считаются четырнадцать лет Перикла в Афинах. Да, но это счастье казначея, прибравшего к рукам общую кассу. Афины возглавляли союз эллинов, бесконтрольно распоряжались стекавшимися со всех городов взносами. А Сократ в это время был приговорен к смерти, а великий Фидий брошен в тюрьму...

Ни одно время, если пристальней взглядеться, не счастливей нашего. Я так и не отыскал в истории мгновения, про которое можно бы сказать: остановись, ты прекрасно!

Однако жалкое же утешение: мы-де столь же несчастливы, как и наши прадеды, ничуть не добрей, не отзывчивей друг к другу. Человечество всегда отказывало себе в лишнем куске хлеба, чтоб получить смертоносное оружие. И теперь танк обходится в десятки раз дороже трактора, работающего в поле. По самомнительности и недоразумению мы продолжаем относить себя к виду *homo sapiens* — человек разумный, — но, право же, нам куда больше подходит название, которым мы наградили своих далеких предшественников: *homo habilis*, человек умелый. Мы умелы, мы удивительно сноровисты, изобретательно создаем с помощью одних вещей другие, но поразительно неразумны, сами себе ужасаемся.

Привычно любить родину, кусок пространства, где ты появился на свет. И почему-то никогда не говорят о любви к своему времени. Люблю наше время, удивляюсь ему, страдаю за него, страдаю от него и хочу, хочу счастливых в нем перемен!

А возможно ли повлиять на время? Да, вмешавшись в естественный ход развития. Да, внося элемент искусственности в стихийные события. Да, усилиями разума! Меня теперь жестоко мучает это вопрос.

После такой неоригинальной филиппики, боюсь, может создаться впечатление: эге, не болен ли он манией мессианства? Недуг, право же, не столь редкий и в наш рационалистический век.

Мессианством?.. Нет! Страдаю весьма распространенной ныне болезнью — непреходящей тревогой за день грядущий. Я, некий Георгий Петрович Гребин, пять-

десять шесть лет назад родившийся в глухом районном селе Яровое, в семье неприметного даже по районным масштабам служащего, со школьной скамьи попавший в окопы, раненный на Курской дуге, контуженный в Карпатах, ныне обладающий степенью доктора, званием профессора, числящийся в штате известного всему научному миру НИИ, умеренно удачливый семьянин, я хочу, чтоб жизнь и дальше процветала на Земле. Хочу! Не осудите за тривиальность.

2

Вряд ли кому удастся уберечь себя в напористом течении времени от ударов, от случайных травм.

Незгоды войны, ранение и контузию я как-то не привык ставить в счет, скорей даже благодарен, «что в двадцати сражениях я был, а не убит». И путь от студентика, не успевшего скинуть военную шинель, до признанного профессора тоже должен считать гладким. Неизбежные шероховатости, досадные препятствия были, однако не настолько значительные, чтоб сетовать на них.

Лет пятнадцать или более того назад я попал в Лондон на международную встречу физиков, взбудораженных тогда теорией кварков. В нескольких шагах от сверкающей рекламной Пикадилли под аркой дома, выходящей на людную мостовую, я увидел группу юнцов, длинноволосых, в цветных кофтах, увешанных бусами, с подведенными глазами, крашеными губами, с зазывным выражением панельных девиц. Прохожие не обращали на них внимания — привычно, — а я выдал себя брезгливым содроганием.

— У вас такого нет, мистер Гребин? — осведомился мой попутчик, известный в Англии научный обозреватель.

И я решительно, с чистой совестью ответил:

— Нет.

Сокрушенный вздох:

— В таком случае верю — будущее за вами, ибо молодость многих развитых наций в проказе.

Я был наказан за самомнение.

К тому времени у меня уже подросток сын. Он увлекался собиранием марок, научной фантастикой, фотогра-

фией, среди школьников шестых — седьмых классов занял по лыжам второе место на районных соревнованиях, учился неровно, порывчиками, пятерки и двойки часто соседствовали в дневнике. Оглядываясь назад, я вижу его в счастливые летние дни на даче в Абрамцеве, которую мы снимали у вдовы художника, — выгоревшие волосы, чистое, тронутое загаром лицо, глаза, доверчиво отражающие небо, тесные потертые шорты и сбитые коленки... Щемит сердце, хоть кричи.

Сева — единственный сын в благополучной семье. Но для подростка наступает такое время, когда каждая семья начинает казаться ему неблагополучной. Каждая, даже самая идеальная! В ее рамках становится тесно, внешний мир манит к себе, опека матери и отца угнетает, хочется свободы и самостоятельности. Становление человека неизбежно создает этот неисклнчительный кризис, у одних он проходит незаметно, у других перерастает в трагедию. Сева стал чаще пропадать из дома...

Он отпустил волосы, наотрез отказался стричься, сразу утратил ухоженный домашний вид, эдакий одичавший послушник. Он наткнулся на старую кофту матери с широкими рукавами, его только не устроили обычные пуговицы, где-то раздобыл медные бубенчики, сам их пришил. В женской кофте с бубенчиками, в потертых, с чужого зада (выменянных), с бахромой внизу джинсах, с неопрятными жиденькими косицами, падающими на плечи, — странная, однако, забота о собственной внешности: стараться не нравиться другим, походить на огородное пугало. Наш сын...

Навряд ли он ждал, что мы станем умиляться, но наше недоумение, досаду, презрительность воспринимал болезненно, стал повышенно раздражительным. Теперь любая мелочь выводила его из себя: неодобрительный взгляд, горькая ухмылка на моем лице, просьба матери вынести мусорное ведро — все воспринималось как посягательство на его достоинство. И самые простенькие вопросы для него вырастали в мучительнейшие проблемы: праздновать или не праздновать дома день рождения, ехать ли вместе с классом на экскурсию в Коломенское, просить ли у матери денег на покупку новой пластинки?.. На его физиономии все чаще и чаще возникало вселенски кислое выражение, пока не застыло в постоянную мину и окончательно не обезобразило его. Мы чувствовали: чем дальше, тем больше он уже сам себя не уважал.

А я вспоминал случай в Лондоне и раскаивался в бравате — у нас нет того, не в пример другим безупречны... То, что свойственно временам и народам, в том или ином виде не может миновать и нас.

Сакраментальный конфликт отцов и детей родился не вчера. «Я утратил всякие надежды относительно будущего нашей страны, если сегодняшняя молодежь невыносима, невыдержанна, просто ужасна». Эти слова произнес Гесиод еще в VII веке до нашей эры. Но отцам последующих поколений от столь древнего признания легче не становилось.

3

Уж если мне не по себе — постоянно на грани отчаянья, — то, казалось бы, как должна чувствовать себя мать? Но странно, она не срывалась на упреки, не заводила душеспасительные разговоры, молчала и приглядывалась. Но я-то видел, чего ей это стоило: осунулась, запали глаза, взгляд их стал беспокойным, словно она постоянно ждала — вот-вот ударят сзади.

Мы поженились, когда я был аспирантом, а она студенткой четвертого курса Катенькой Востровой — акварельное лицо, светлые косы. Мог ли тогда я думать, что это эфемерное существо станет моей незыблемой опорой. Не я — ее, она — моей, на всю жизнь. Правда, очень скоро Катя утратила эфемерность, раздалась, приобрела решительную статью. И надо ли говорить, что светлые косы были отрезаны... Я занимался неуловимыми нейтрино, размышлял, седловидной или сферической является форма Вселенной, и не способен был думать о плитке, отвалившейся в ванной комнате, о пальто для Севочки, о том, наконец, что «хлеб наш насущный даждь нам днесь». Над этим думала только она, Катя, я лишь покорно преклонялся перед ее предусмотрительной мудростью, теперь вот с надеждой ждал ее решения. И она решила:

— Это бунт, Георгий. Против нас, против всего мира. Ты собираешься его подавить?

Я ничего не ответил.

— Нет, — горько проговорила она, — ты хочешь, чтоб это сделала я.

И я снова промолчал, так как она угадала. Добавить мне было нечего.

— Так вот, Георгий, нам лучше отвернуться от его мальчишеского бунта, сделать вид — не заслуживает внимания. Не будем подбрасывать дров в огонь. Само погаснет.

Лишний раз Катя доказала свою непостижимую для меня мудрость. Действительно, Сева скоро забросил кофту с бубенчиками, подстригся, смысл с лица кислое выражение, взялся тянуть школьную ляжку, а она нынче тяжела. Давно исчезли альбомы с марками, детские фото-аппараты, учебники вытеснили книги научной фантастики, даже выскочить в кино не хватало времени, постоянные заботы об отметках и синяки под глазами от усердия. Но пора же выбирать то, чему хочешь посвятить себя! Надо чем-то увлекаться, что-то искать, пусть даже за счет успеваемости, отнимая время от домашних заданий, иначе — полная растерянность в начале пути, случайный институт, случайная профессия, бремя до самой могилы, судьба несчастливца. Я ударил тревогу, и Сева охотно на нее отозвался — стал увлекаться... гитарой! Целыми вечерами он брэнчал с проникновенной занудливостью:

Трутся спиной медведи
О земную ось...

Из четверочников свалился в троечники и уже не поднялся. Мать не попрекала меня за оплошность, лишь глядела порой осуждающим оком.

Он подал на биофак, хотя с таким же успехом мог подать на физический или юридический, был отсеян после первого же экзамена по математике. Тут-то вот и появилась на его еще мальчишески пухлых губах слабенькая улыбочка, ироническая и беззащитная одновременно. Улыбочка бывалого человека, который во всем разуверился, его уже не удивишь и не сразишь неудачей. Это вам не прежнее кислое выражение недоросля, не подавленность, не растерянность, а обретенная решимость после поражения. Сева не стал держать нас в неведении:

— Больше не буду куда подавать. Зачем? В школе была каторга, в институте — снова!.. Хочу жить. Просто. Без натуги. На хлеб себе как-нибудь заработаю.

Решение беспрюграмное уже потому, что для его осуществления не надо прилагать никаких усилий. Я по-

давленно глядел на улыбочку бывшего человека, приклеенную к мальчишескому лицу.

А мать тихо произнесла:

— Ты меня обкрадываешь, Сева.

— Чем?

— Какая мать не мечтает подарить миру значительного человека.

Но он с ходу отпарировал:

— Что для тебя важнее, мама: быть мне значительным, но несчастным, или же счастливым, но незначительным?

Я крикнул, а мать с тоскливым удивлением долго разглядывала его.

— Кто тебя так напугал, сын? — спросила она. — Не мы же.

Сева упрямо опустил голову:

— Хочу быть свободным... от лишних забот. Вот и все!

Его быстро освободили от забот о своем будущем — призвали в армию. Там за него думали, им распоряжались, никаких хлопот...

4

Война родственно связала меня с одним человеком — Голенковым Иваном Трофимовичем, командиром дивизиона, с которым я прошел от Калача-на-Дону до Сталинграда, от Сталинграда до Праги. Еще до фронта, на подготовительных учениях под Серпуховом, грозный майор Голенков случайно обратил внимание, что мальчишка-разведчик батарейного взвода управления мгновенно, не заглядывая в таблицы, делает нужные расчеты для наводки орудий. Сам майор Голенков пришел из запаса, стрелял в гражданскую из трехдюймовок, дальность обстрела которых четыре версты, баллистику знал слабовато. Он удивился моим способностям, пообещал, что сделает из меня командира, стал называть сынком, и это, право, не было просто ласковым обращением — я оказался под отцовской опекой.

Иван Трофимович поражал костистой громоздкостью нескладного тела, густым басом, суровой угловатостью лица. Житейская мудрость, которую он изрекал мимоходом, по сей день для меня неустаревшее руководство:

«Береги свою голову, но помни, что твой горшок не дороже других... Никогда не горячись, ушат воды тушит костер... Не смей быть сытым, когда подчиненный голоден...» Несу через жизнь бесхитростные отеческие наставления, и если не всегда следую им, то потому только, что не обладаю ни силой воли, ни моральными качествами своего наставника.

На Курщине в наступлении немецкая батарея, которую мы пытались подавить, накрыла наш НП, осколком перебило мне левое предплечье. Иван Трофимович приполз к нам с дивизионными разведчиками, собственноручно тащил меня на плащ-палатке через зону обстрела. Я этого не помню, из-за плохо наложенного жгута потерял много крови, был в беспамятстве. Он упросил, чтоб меня не эвакуировали, оставили при санбате, боялся потерять. Этого боялся и я, а потому с незатянувшейся раной вернулся в дивизион.

Конец войны застал нас под Прагой, Иван Трофимович сам добился моей быстрой демобилизации: «Не всю же жизнь торчать тебе возле пушек».

А спустя десять лет утром меня поднял с постели телефонный звонок.

— Прошу великодушно простить, не здесь ли живет Георгий Гребин? — Неповторимый бас, который нельзя ни забыть, ни спутать.

— Иван Трофимович!!

— Узнал, голубчик! Помнит старика! — В басовых руладах непривычное дребезжание.

Он демобилизовался в чине подполковника, жил в Москве, работал в каком-то отраслевом главке инспектором.

Одно время мы встречались часто, я нес к нему свои радости и печали, теперь видимся куда реже, но раз в году я обязательно его навещаю.

Он никогда не праздновал своих дней рождений, отмечал лишь один особый день. Ваньке Голенкову, круглому сироте, деревня определила быть пастухом — кормиться по дворам, ночевать по чужим углам. И вот однажды, когда он под осенним дождичком пас стадо на приречной пожне, из редколесья выехали двое конников, у одного за плечом торчала винтовка, у другого на поясе висела кобура с наганом. Они искали брод через реку, «где дно покрепче, тяжелое потащим, как бы не застрять». Иван бросил стадо на мальчонку-подпaska, повел

конников на пережат, дно там плотное, песок с галькой, любой воз выдержит. Но тяжелыми оказались не возы, а пушки... В деревню он не вернулся, остался при артиллерийском соединении отдельной ревбригады под командованием товарища Пестуна-Гроздецкого. Через год неграмотный пастух уже командовал батареей, под хутором Михайловским его батарея разметала наступавших казаков, решила исход боя. Иван Голенков был отмечен в приказе, подписанном Фрунзе, награжден именными часами. После освобождения Крыма от Врангеля его направили на курсы комсостава, но кадровым командиром он оставался недолго. Армия шефствовала над деревней, Иван Голенков возглавлял шефские бригады, выступал с докладами, организовывал ликбезы, был послан для ознакомления в знаменитый тогда совхоз имени Тараса Шевченко, где создавался первый тракторный отряд. Кончилось его шефство тем, что гимнастерку с черными петлицами Иван сменил на пиджак ответственного районного работника, а позднее и областного... Однако не все шло гладко, похоже, что у Ивана Трофимовича были крупные неприятности, о которых он не любил вспоминать. Их разрешила война...

День, когда «от коров ушел к людям», он считал самым важным днем в своей жизни, отмечал его в кругу близких людей.

Когда-то в этот день рядом со мной за столом сидели сверстники Ивана Трофимовича. Пренебрегая артритами, колитами, катарам, которыми они все были обременены, старички налегали на водочку и, отрываясь от воспоминаний, глухими басами и вибрирующими дискантами запевали:

Белая армия, черный барон
Снова готовят нам царский трон...

Теперь никого из них уже нет в живых, а сам Иван Трофимович, последний из могикан, едва себя носит. Он на год старше нашего катящегося к концу века. Он трудно ворочает своими крупноблочными суставами, складки пористой серой кожи дрябло висят, только нос по-прежнему тверд да ржавые брови кустисты и грозны, но под ними размытая младенческая голубизна. И со свистом дышит, с усилием говорит — страдает астмой, — но ум сохранил, достоинство тоже.

Не считая хозяина, ныне я самый старший за столом.

Дочери Ивана Трофимовича и их мужа тоже не молоды, но уже для них «Вставай, страна огромная...» столь же экзотична, как для меня «Белая армия, черный барон...». Иван Трофимович каждый раз уводит меня от семейного сборища в свою спартанскую комнатку, садится напротив — напряженно прям, плечи подняты, лопатисто-широкие, узловато-венозные руки прикрывают острые колени.

— Меня, отживающего, съедает тревога, мой друг... — Сиплым голосом, превозмогая одышку.

— Что-нибудь случилось, Иван Трофимович?

— Да, голубчик, да. Старая развалина, видите ли, стала думать.

Я не считаю нужным ни возражать, ни торопить вопросом — сам скажет, для того и вырвал из-за стола, привел сюда. Он возвышается в позе каменного фараона, глядит молочным взором в окно поверх шумящего города, поверх мятущегося сегодня — в бесконечность.

— Я всегда был заносчиво доволен собой... — Глухо, не мне, а в пространство. — Да, весь свой долгий век считал — звезд с неба, конечно, не хватаю, зато совесть чиста, как слезинка. Прожил восемь десятков, а взглядеться в себя все было некогда, спешил вперед, заре навстречу. Только теперь догадался оглянуться, и...

Натужный прерывистый вздох, долгое молчание, взгляд в дальнее.

— И ударило в старую башку: столько прожил — а что сделал? Кирпича в стену не положил. Кто-то другой дома строил, заводы возводил, землю пахал, а я... Я, голубчик, или стрелял, или покрикивал: «Давай-давай!»

— Как вы знаете, я тоже стрелял и, право, ничуть не раскаиваюсь, а горжусь даже, — возразил я.

Иван Трофимович хмыкнул и не пошевелился.

— Не трать пороха, дружок, не доказывай, я и без тебя знаю, что пушка тоже может служить жизни. Да, именно из таких пушек я и стрелял. Да, ради жизни! Но ты вот отстрелялся и занялся совсем другим — науку копаешь, забыл о прицеле, пушка в душе у тебя не сидит. А та трехдюймовочка, с которой я в молодости тесно познакомился, мне характер испортила: не мог глядеть не прицеливаясь, не мог действовать не сокрушая, даже когда говорил, то изо всех сил старался, чтобы мои слова имели пробойную силу. «Давай-давай!» — штучка взрывчатая...

— Обстановка была взрывчатой, Иван Трофимович.

Снова хмыканье.

— Пробовал, дружок, пробовал свалить на обстановку. Получалось, но... через раз. Я сам и накалял обстановочку, а потом боялся, как бы не взорвалась, беды не наделала...

Замолчал, темнея лицом, дыша со свистом, отводя от меня взгляд. Отдышался, заговорил глухо, как в шубу:

— Никто меня не неволил в селе Старожилове храм ликвидировать, сам додумался. И обстановка к этому никак не располагала. Товарищество по совместной обработке земли тогда создавали, старались людям глаза раскрыть на лучшую жизнь, в доверие войти. Зачем, казалось бы, на конфликт нарываться, наоборот, стоило бы с батюшкой по душам потолковать. Попик был ветхий, но неглупый — поддержал бы, не на дурное толкаю, бабы ему верили во всем, а бабы и мужиков помогли б уломать. Так нет, от ненавистного бога помощь принимать! Лучше его выкорчевать, чтоб под ногами не путался. К начальству ездил, кулаком стучал, доказывал: мол, корчевать нужно, и немедля! Выстучал разрешение: бога сместить, церковь закрыть, колокола снять! Веревками — эх, дубинушка, ухнем! — колокола стаскивали. Большой грянул вниз — мороз по коже. Плач, вой, стоны, бабы остервенились, толпой на нас с кирпичами. Двоим активистам головы пробили... Обстановочка-то до белого накала дошла... — Иван Трофимович задохнулся, выждал, тускло обронил: — Лопнул наш ТОЗ.

Я подавленно его разглядывал: широкий напрягшийся костяк, седина в желтизну, темное изрезанное лицо. Я знаю его четверть века, видел в минуты смертельной опасности, он человек кристальной честности и самоотверженного благородства, он из тех, кто не может быть сытым, когда голодны другие, никогда не жил для себя, но вот кончает жизнь самосудом. Быть может, сейчас он ждет от меня защиты, но можно ли опровергнуть выстраданное? Тут так легко сорваться на благостную фальшь. Оскорбить фальшью не посмею. Я молчал.

И он снова заговорил — с угрюмым раздражением, с одышкой:

— Не оттого ли, что я жизнь перекалил, мои дети холодны, как ледышки?.. Да, и дочери и зятя! Пробовал исповедоваться — пожимают плечами: мол, известно,

нас не удивишь. Спрашиваю о будущем: каким вы хотели бы его видеть? Снова пожимают плечами... Да черт возьми, меня, считай, уж нет на свете! За вас же, живых, страшусь. Камо грядеши, человецы?.. Н-да-а...

Я молчал. Наверно, и мое молчание он принимал как пожатие плечами.

Вчерашний школьник Сева Гребин, не понюхавший жизни, уже панически страшится ее. Отживающий свой век Иван Голенков тоже охвачен страхом. И я, стоящий между ними, я, представитель зрелого поколения, могу только пожать плечами — не пребывать же в постоянной панике, ко всему привыкаешь.

Камо грядеши? Во все века люди задавались этим вопросом. Куда двигаешься ты, человек? Что ждет тебя впереди? И сколько раз случались эпидемии ужаса перед грядущим — люди бросали работу, забывали о хлебе насущном, ждали, что вот-вот разверзнется земля, подымутся мертвые, трубы архангелов возвестят о Страшном суде, о вселенской кончине. Апокалипсисы никогда не выходили из моды.

Но теперь-то угрожает не некий гипотетический гнев божий, мы губительно опасны сами себе своим возросшим могуществом, своей необузданной энергией, своим неуправляемым поведением.

Если ставится врачом диагноз: такой-то не может управлять своим поведением,— то, значит, данная личность психически ненормальна.

Не дай мне бог сойти с ума.
Нет, легче посох и сума...

Ну а как аттестовать вкуче все человечество, неспособное отвечать за свои действия?

Пожмем плечами?..

5

Мы славим выдающихся людей, олицетворяющих собой наиболее активную человеческую деятельность. Они — носители идей, они — источники сигналов, приводящих в движение массы. Через них-то, казалось бы, легче всего подобраться к самому заповедному: како-

во же все-таки значение осознанной деятельности человека, что совершается по его воле, а что самопроизвольно?

В прошлом веке на эту тему яростно спорили, бросались в крайности вплоть до безапелляционных утверждений: историю делают герои! И народники шли в народ, рассчитывая героическим подвижничеством изменить многострадальную народную жизнь. И наиболее решительные из народников вооружались самодельными бомбами, стремились ценой самопожертвования убрать тех, кто, по их мнению, мешает истории. Столь отважная практика не помогла найти ответ, решение вопроса так и не вышло за пределы гадательности.

В других науках свои гадательные предположения ученые проверяют экспериментом. История же экспериментированию не поддается. Сама по себе она наиболее динамический процесс в природе. Историческая же наука, увы, едва ли не самая статичная из всех наук.

Вот если б можно было изъять из истории какую-нибудь известную историческую личность, а потом понаблюдать — как без нее дальше развернутся события...

Если бы да кабы... Сие явно невозможно.

Однако как зыбка в наш поразительный век грань между возможным и невозможным! Давно ли было бредово-невозможным достать Луну в небе...

Листая на сон грядущий популярный журнал, я случайно наткнулся на статью...

Группа биологов, возглавляемая доктором биологических наук В. В. Меншуткиным, задалась целью промоделировать — ни больше ни меньше! — эволюцию позвоночных начиная с праланцетника. Это примитивное существо жило на нашей Земле в теплых морях около миллиарда лет назад, было десяти сантиметров длины, имело скорей всего полупрозрачное тело и спинную струну без каких-либо намеков на головной мозг. Оно стало предком всего плавающего, ползающего, летающего, бегающего населения планеты, плоть которого держится на скелете. Предком и самого человека.

Промоделировать, как произошло такое многоликое преобразование праланцетника, схематически воссоздать многообразно изменчивый путь длиной в миллиард лет... Легко сказать!

Но биологи под руководством доктора Меншуткина и раньше моделировали с помощью электронно-вычислительной машины не столь масштабные отрезки эволюции. И теперь они разработали исходную программу, которая содержала в себе отличительные особенности праланцетника, учитывала внешние условия. Закодированный праланцетник, как и живой, наделен был способностью давать потомство, в равной степени умеющее приспосабливаться к окружающим условиям и не умеющее. Эволюция должна идти по Дарвину — путем отбора случайных изменений.

Программу вложили в М-4030, далеко не самую быстродействующую счетно-решающую машину. Она послушно начала выдавать в периодических распечатках наборы символов, из которых экспериментаторы без особого труда стали реконструировать животных, так сказать, уже в «плотском виде». То, что в природе проходило за десятки и сотни миллионов лет, машина прокручивала за минуты...

Если природа выбрала тот путь развития, который имеем мы на своей планете, то кто может гарантировать, что он единственный? А вдруг да эволюционных путей множество, неизвестно, какой еще выпадет... Меншуткин загадывал: а не возникнет ли некое шарообразное существо, которое станет перекачиваться по земле? Его помощник кандидат наук Б. Медников мечтал, что разовьются шестиногие — наподобие насекомых — млекопитающие, которым в дальнейшем почему бы и не превратиться в кентавров.

Но никаких чудес не произошло. Из праланцетника в машинной эволюции образовались различные рыбы, они обрастали панцирем и теряли его, становились гигантами и вновь мельчали. Наконец одна из них выползла на плавниках из воды на сушу, превратилась в ящера... В конце концов возникло существо с высокоорганизованной нервной системой, передвигающееся на задних конечностях. Машина честно повторила ту великую торную дорогу, какую прошли мы, — от праланцетника к человеку!

Прочитав об этом, я взволновался и устыдился. Уж кому-кому, а мне-то постоянно приходилось и самому сочинять экзерсисы и участвовать в коллективном создании симфонических композиций, которые затем проигрывались на таких вот гармошках, воспроизводя некие

физические картины мира. Поэтам не свойственно «алгеброй гармонию поверить», но лингвисты, изучающие этих поэтов, теперь куда как часто прибегают к математическим расчетам столь сложным, что с ними справляются только компьютеры. Историки же и здесь оказались рутинерами. Уж если биологи решились проиграть на машине миллиардолетнее развитие, то почему то же самое нельзя совершить с человеческими веками и тысячелетиями? Следует взять реальный исторический период, где действует некая выдающаяся личность, запрограммировать его, проверить через счетно-решающее устройство: совпадет ли программное развитие с ходом истории? Совпадает — прекрасно! Тогда уберем-ка из программы великую личность, посмотрим, как смоделированная история развернется без нее. Будут конкретные результаты, никак не гадательные. Оказывается, с неподвластно-величавой историей тоже можно проводить эксперименты.

Но легко сказать — запрограммировать кусок истории. Это значит расчлени целый пласт многообразной, запутанной жизни на простейшие составные части, представь их в виде отдельных задачек с таким расчетом, чтоб они решались односложно — да или нет. Именно так только и способна отвечать машина, действующая по принципу — прошел или не прошел электрический импульс, оперирующая набором единиц и нулей, из бесчисленности которых и создаются некие сложные выражения, как из сочетаний точек и пробелов на газетном листе получаются тональные оттиски фотографий.

Я зажегся было, но тут же остыл — неподъемно, не зря же никто еще не брался за такой подвиг. Однако заноза глубоко вошла, вызывала воспаление, я ни на минуту не переставал думать. Собственно, меня интересует не широкий фронт исторического прошлого, а лишь участок, на котором действует какая-нибудь выдающаяся личность, тот же, к примеру, Христос. Это уже несколько облегчает мое положение. Мне следует уяснить границы влияния Христа.

Когда-то у нас безоговорочно отвергали его историческую реальность — мифическая фигура, плод воображения многих поколений. Сейчас же, насколько мне известно, все наши историки раскололись на два лагеря, одни по-прежнему считают — такового в действи-

тельности не было, другие утверждают — был, существуют скупые свидетельства.

Я склонен верить последним, и вовсе не потому только, что существуют отрывочные упоминания о нем в древних источниках. Нет, не мимолетно брошенные оговорки Тацита, Плиния Младшего, Светония убеждают меня, а объективное обстоятельство: коль возникло мощное движение — христианство, то у истоков его непременно должна находиться и выдающаяся среди других личность. Как правило, лишь в чьей-то одной голове высекается изначальная искра будущего духовного пожара. Человеческая память указывает на галилейского проповедника — Иисус Христос, не кто иной! Нет смысла отвергать это, ставить вместо известной величины безликий икс. Важно разглядеть в Христе под многовековыми напластованиями божественного — человека. И я принялся пристрастно вглядываться...

6

Его туманная биография в каком-то смысле результат биографии всего человечества. А его духовное зарождение вообще началось в непроглядных далах бытия, еще в мире животных, где сильный уже начинает подчинять слабого.

Но знаменательно — неравноправная война сильного со слабым у животных до крайней жестокости не доходит. Схватки за высокое положение большей частью непродолжительны и бескровны, скорей символичны — воинственные звуки, показательные выпады, демонстрация агрессии, борьба характеров, в которой нерешительный отступает, не ввязываясь в драку. Смертельный исход в такой войне — исключительная редкость. Характерно: хищников природа наградила орудиями убийства, но вместе с ними вложила инстинкт, препятствующий беспощадно расправляться со своими «соплеменниками». Волк, побежденный сильнейшим, падает на спину и подставляет самое уязвимое место — шею. Победитель, как бы ни был разъярен, не вцепляется зубами в беззащитное горло. Сдерживающий инстинкт оказывается сильнее ненависти.

Если у современных человекообразных обезьян драки за первенство почти никогда не кончаются смер-

тью, то, должно, убийство было несвойственно и тем приматам, которым предстояло превратиться в людей. Да, наверно, и сами перволюди, те низколобые, зверообразные дикари, одно представление о которых у нас вызывает невольное содрогание, скорей всего жестоки друг другу не были. Однако уже синантроп, дальневосточный собрат питекантропа, достаточно далеко шагнул вверх по эволюционной лестнице, чтоб преодолеть в себе охранительные инстинкты, — его череп археологи обнаружили в «кухонных отбросах». А уж коль они лакомились друг другом, то, значит, и сражались между собой с лютой беспощадностью.

Человек головокружительно быстро набрал силу: что прежде было недоступным, становилось доступно, а осознание своих возросших возможностей заставляло желать все большего и большего. Звери, обладающие могучими мускулами, устрашающими клыками, в страхе отступали перед ним. Единственным существом, способным воспрепятствовать исполнению неутолимых человеческих желаний, оказался другой человек, столь же ненасытный и столь же вооруженный. Есть ли сейчас на нашей планете хоть одно место, обжитое человеком, не политое его кровью, не вымощенное его костями в самоутверждающих битвах?.. Ради своей жизни отними жизнь у другого!

Но вот открылось — отнять жизнь можно и не убивая, а присваивая ее. Живи, но не для себя, а для меня! Жестокое насилие стало способом существования, без побоев и надругательств не вырастал колос на поле, не появлялся хлеб на столе.

Ненавистничество настолько заражает сознание людей, что даже богов-покровителей они представляют себе не иначе как злобно-коварными, жестокими до мелочной мстительности. Великому Зевсу кажется, что его обделили при жертвоприношениях, и он через ящик Пандоры насылает на род людской болезни и бедствия. Сиятельный Аполлон сдирает кожу с силена Марсия за то только, что тот посмел соперничать с ним в игре на флейте. Яхве, всемогущий, единодержавный бог евреев, постоянно суетно озабочен: бояться ли его люди, а вдруг как нет? От Авраама он требует невозможной жертвы: зарежь для меня своего единственного сына. И когда послушный Авраам заносит нож, бог удовлетворенно останавливает: «Ибо теперь Я знаю, что боишься ты Бога...»

Тем не менее среди всеобщей жестокости раздаются предостерегающие голоса. «Не следуй за большинством на зло...» — поучает Моисей. А пламенный Исаяя прямо требует: «Разреши оковы неправды, развяжи узы ярма и угнетенных отпусти на свободу...» Нет, это не атавистическое проявление заложенного природой охранительного инстинкта, человек начинает делать робкие выводы, его разум восстает против отравленного бытия.

Пока эти голоса случайны и непоследовательны. Сам Моисей жестокосерден, следует правилу: «Око за око, зуб за зуб!» И все тот же правдолюбивый Исаяя без содрогания страшит врагов: «И младенцы их будут разбиты перед глазами их; дома их будут разгромлены, а жены обещены...»

Среди изнемогающего человечества должен был возникнуть бескомпромиссный, решительно отвергающий всякую жестокость голос. Мир начал ждать глашатая, и он появляется — из глубины подавленного народа, из самых низов, из отверженных.

Он не вопит и не устрашает, как это делали до него многочисленные пророки-правдолюбцы. Кто отзовется на пугающий вопль, когда вопят всюду? К устрашениям все давно привыкли. Он негромко убеждает: «Вы слышали, что сказано: люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. А я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас... Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари?»

Мир без врагов, мир, живущий взаимной любовью, — новое безрассудное желание, противоречащее самой природе, которая даже у животных установила: сильный подавляет слабого, позаботившись лишь об ограничениях. Воистину неугнетен человек! Он и тут замахивается на невозможное, что не предусмотрено матерью-природой.

Но мать-природа непредусмотрительно обделила нас крыльями, а мы все-таки летаем. Разве поднялись бы мы в воздух, если б в глубине веков неподготовленный человек с безрассудной страстью, вопреки природе, не пожелал заведомо невозможного — хочу летать! Хочу, и все тут, без всяких на то оснований.

И основания были добыты позднее.

Слава тем, кто заражает род людской неисполними-
ми желаниями!

Через них невозможное становится возможным.

7

Те, кто пользуется автобусами, поездами, самолетами, сами их не водят. Так и те, кто прибегает к помощи вычислительных машин, чаще всего непосредственно с ними не общаются. Существует все время растущая армия специальных толмачей между человеческим и электронным интеллектом. В обыденности их именуют программистами.

Я имел дело со многими из них, одни в моей жизни занимали не более места, чем случайные водители такси — провезли да высадили, — с другими меня связывала тесная дружба, а для программистки Ирины Сушко я был еще и крестным отцом.

Нильс Бор как-то мимоходом бросил, что недостаточно сумасшедшая идея в физике имеет меньше шансов быть правильной. Каждый уважающий себя физик пробовал сумасшествовать, я тоже в том грешен. Одну шатко-ненормальную идею, которую я вынашивал, необходимо было подпереть расчетами, для этого нужен программист, а в них тогда ощущался острый недостаток. Мне посоветовали взять студентку последнего курса мехмата: «Исключительно способна!»

Миловидно носатенькая, но с густыми, суровыми, недевическими бровями, Ирина, казалось, вся состояла из несовместимых противоречий: надменно-самолюбива и в то же время пристрастно к себе недоверчива, порывиста и крайне осторожна — из тех, кто семь раз до тошно отмерит, прежде чем один раз отрезать, — страстная убежденность у нее могла внезапно смениться горячим отрицанием, упрямство — раскаянием. Словом, еще тот характерец — скачущий. Однако мы с ней прекрасно сработались, совместно получили убедительное доказательство, что моя идея, вне всякого сомнения сумасшедшая, ничего не имеет общего с реальной действительностью. Для меня — неудача, если не конфуз, для Ирины — содержательная дипломная работа. Ей пророчили большое будущее. Но скачущий характер, подстегнутый самомнением, кинул ее в сторону от физики:

— Георгий Петрович, на исхоженном вдоль и поперек континенте Экономики должны быть тайные тропы, ведущие под неприступные стены Нравственности. Хочу поискать.

Я уже хорошо знал ее, а потому не спорил и не отговаривал, только сказал на прощание:

— Если упрешься в тупичок, возвращайся назад к нам.

Можно не сомневаться, никаких заветных троп она не нашла, но к нам не вернулась, продолжала программировать хозяйственные операции. Здесь новое слово сказать трудно, эту жилу разрабатывают многие, особенно активно американцы.

Ирина изредка мне звонила просто так, по старой памяти — узнать, как я живу, — еще реже мы встречались у общих знакомых. Из носатенькой норовистой девочки она превратилась в несколько угловатую, не очень-то придирчиво следящую за собой женщину, однако по-своему привлекательную, пожалуй, даже красивую — с темным загадочным взглядом из-под пугающе густых бровей. Уже она успела развестись с мужем, совсем недавно вышла во второй раз за человека много ее старше, ответственного руководителя какого-то ведомства.

Сейчас Ирина нужна мне — для совета.

— Приду! — отозвалась она в телефонную трубку и с присущей ей решительностью продиктовала время и место встречи: — В час у вас в институте. Не встречайте — дорогу помню.

Два скромных здания — старый и новый корпуса — можно назвать постпредством нашего института в столице. Здесь широко расположилась администрация, имеются актовые залы разных размеров, для разных случаев, две библиотеки и несколько лабораторий, имеющих скорей музейное, чем рабочее, значение, — в них в свое время тихо совершались впоследствии получившие громкую известность события. Основные силы института давно перенесены в академгородок, прячущийся в лесах за пределами Московской области. Там у нас, по существу, многоцеховая, технически оснащенная фабрика, на которой сотни сотрудников с учеными степенями и без оных добывают (или, по крайней мере, пытаются) уникальную информацию.

В Москве у нас тесно, далеко не все заслуженно уважаемые профессора имеют пристанище в стенах своей альма-матер. Теоретики вообще поставлены в положение надомников. На меня же некогда возложили весьма расплывчатые обязанности главного консультанта по научной периодике и выделили в старом корпусе под самой крышей пространство в пятнадцать квадратных метров, с широким арочным окном на шумную улицу. Возложенные обязанности как-то незаметно слиняли с меня, словно зимняя шерсть с зайца, а кабинет вместе с несолидным канцелярским столом и солидным шкафом, забитым старыми журналами и монографиями, остался за мной. Единственный мой вклад в него — большая, почти плакат, фотография спиральной галактики М51, смахивающей на растрепанный знак вопроса. Фотографию эту подарил мне автор, один американский астроном из Паломарской обсерватории. Вместе с ним я пытался объяснить, почему закрученность галактик не размазывается, когда должна бы, казалось. Интерес к завиткам данной галактики у меня давно исчез, а ее портрет остался.

Под этим-то космическим портретом и расположилась Ирина Сушко. Она закурила сигарету и забыла о ней, слушала, и на скулах проступал исподволь легонький румянец...

Заряд мой был выпущен быстро — замысел и пространный вопрос: не располагает ли она какой-нибудь забытой идейкой создания математической модели истории?..

Я кончил, Ирина порывисто встала, подошла к окну, долго стояла ко мне спиной, напряженно вытянутая, осино-тонкая в талии.

— Вы безумец, Георгий Петрович,— произнесла она наконец и обернулась.— Восхищаюсь вами.

— Как прикажете понять, Ирочка? Похвала это или осуждение?

— Да вам-то не все ли равно? В похвале моей не нуждаетесь, осуждения моего не боитесь.

— Боюсь осуждений, хочу вам нравиться, так как нуждаюсь в вашей помощи.

Она откачнулась от окна, рывком придвинула кресло, села напротив, скрывая под насупленностью волнение, сурово потребовала:

— Покажите мне кончик надежды — сломя голову кинусь за вами!

— То-то и оно — самому бы за что ухватиться.

— Не пытайтесь стать историком, Георгий Петрович, тем рыбаком, который лишь выживает признаки прошлого.

— В кого же мне советуете переквалифицироваться?

— В мыслителя-анатома!

— А это еще что за гибрид?

Ирина разглядывала меня требовательно блестящими глазами.

— Ах, вы столь наивны, что не догадываетесь, что вам придется рассекать на части, раскладывать по полочкам запутанную историю. Не догадываетесь, но предлагаете: не возьмете ли на себя учет и систематику? Возьму, Георгий Петрович, возьму, если буду иметь что учитывать, что приводить в систему!

Я молчал, прикидывал, на что сам иду и какие обещания могу дать этой женщине. Иду в общем-то на авантюру, пообещать же ничего определенного не решусь. А подозрительная затея наверняка будет стоить немалых трудов, и компенсировать их ничем, кроме добрых отношений, не сумею. Не следует ли вовремя схватить себя за шиворот?..

Ирина приглядывалась, выжидала и не дождалась, сама мягко заговорила:

— Трусы в карты не играют, Георгий Петрович. Готова с вами идти ва-банк. С вами, Георгий Петрович, только с вами! И не по старой дружбе, и не потому, что рассчитываю на триумф, а потому, что знаю: вы на неосмысленное не позовете. Не вам объяснять: машина — дура, умеет перемалывать только чужое. А я у этой дуры прислужница. Мы всего-навсего ваш костыль, Георгий Петрович.

— То есть не зная броду, не суйся в воду, — очнулся я. — Что ж, буду искать этот брод. Пока не найду, не потащу вас за собой.

— Нет, Георгий Петрович! Нет! Вместе полезем. Костыль, которым станете нащупывать твердое дно, будет с вами. Иначе зачем же мы нужны, когда брод открыт?

— Найдем ли брод, переберемся ли — все равно заранее спасибо, Ирина.

Она норовисто дернула головой.

— Не за что, Георгий Петрович. Грешна! Не ради вашей славы, ради корысти своей... Закисла я в стороне от вас. Черт-те чем теперь занимаюсь, технологические процессы хлебопекарного комбината программирую. Да с ними любой более менее математически грамотный дьячок справится. Подвигов жажду! Чтоб — раззудись, рука, развернись, плечо! Василия Буслая в себе чую!

Я вздохнул:

— Подвиги-то по столбовой дороге растут, а я тяну в околесную чашу. Заблудимся, Василий Буслай, в незнакомых местах...

— Ну и заблудимся, кто нас за это попрекнет? Не задание плановое выполняем, токмо любопытства ради... А вдруг — да!.. Нелюбопытные жар-птицу не ловят.

Она ушла. Я подошел к окну. Внизу за окном, размешивая мокрый снег на асфальте, стадно неслись машины; промозглая дымка над озабоченно суетливой улицей, слякоть на мостовых, давящее серое небо над высокими призрачными домами — тусклый будничней денек, не обещающий надежд, не располагающий к мечтам, не взывающий к дерзости.

Над миром неспешно катится очередной март, ощущается ранняя весна, рычат на московских улицах машины, расплескивают талый снег. И где-то за суконным небом, в солнечной пустоте плавает вокруг Земли космическая станция «Салют-6», соединившаяся недавно с кораблем, который доставил двух новых добровольных узников во славу науки. А я уныло торчу в окне, без особого воодушевления строю, однако, странные планы — как прорваться на две тысячи лет назад, в незапамятную древность, чтоб убить там того, кого люди чаще всех, шумнее всех славили в веках.

Потом я часто вспоминал этот тусклый оттепельный день. Забыл даже его число, а оно бы должно быть в моем календаре выведено красным. С него началось, до тех пор были только мечтания. В тот день я завербовал штурмана в плаванье по реке Времени. С того дня я стал отбирать из истории необходимый мне багаж. Тут начало!..

СКАЗАНИЕ ВТОРОЕ

Откровения возле философской бочки

Это случилось за триста лет до Христа.

В богатый и славный Коринф вновь съехались люди со всех городов Греции, и только упрямая Спарта, которая рядом — рукой подать, — опять никого не прислала.

В прошлом году царь полуварварской Македонии Филипп заставил здесь признать себя предводителем эллинов. Грозны были его фаланги, вооруженные македонскими сариссами — копьями в пятнадцать локтей в длину. Но зимой он праздновал свадьбу своей дочери Клеопатры, выходил из театра, и один из его телохранителей, юный Павсаний, всадил ему в бок свой меч.

Ни Фивы, ни Афины, ни другие города Эллады не успели прийти в себя, как сын Филиппа Александр повернул отцовские фаланги на юг. Никто не решился сопротивляться. Коринф торжественно встретил двадцатилетнего властелина, и отовсюду спешили посланники, чтоб выразить ему свою покорность и преданность.

Его сопровождала пышная свита — восточная цветистость и эллинское изящество нарядов, горящие на солнце доспехи воинов. В Коринфе, где мрамор колонн превращали в затейливое переплетение пальмовых листьев, а бронзу в фантастические цветы, любили изысканную пышность. Но всех ослеплял юный царь, Коринф, стоящий сразу на двух морях, принимавший людей со всего света, еще не видел в своих стенах такого человека. Красив, как Дионис, мужествен, как Аполлон, Александр с шестнадцати лет начал командовать войсками, в восемнадцать в страшной битве при Херонее увлек за собой дрогнувшую фалангу на Священный отряд фиванцев, считавшийся непобедимым. Священный отряд весь полег — воин на войне, ни одного не осталось в живых... Из уст в уста по всему городу с трепетным страхом передавали, как Александр недавно посетил Дельфийский храм. Был «черный день», когда оракул молчит, никому не выдает предсказаний — ни царям, ни простолюдинам. Но не Александру... Он подхватил пифию, силой повлек ее к храму. И пифия воскликнула: «Юноша! Тебе нельзя не покориться!» «Этого изречения мне довольно», — сказал Александр и отпустил ее. Готов спорить с богами, укрощать судьбу, недоброжелатели стара-

лись высмеять его непомерное честолюбие: будто бы он плакал при виде полной луны, что не может завладеть ею. Но это ни у кого не вызывало смеха, а изумляло.

И сейчас в переполненном Коринфе все, все спешили хоть одним глазом, хоть издалека, из толпы, через головы других увидеть похожего на молодого бога господина Эллады. Спесивые аристократы и рабы, мужественные воины и суетные женщины, дряхлые старцы и дети, коренные жители и приезжие — все, все сторали от любопытства.

Только один человек в городе не пошевелился, чтоб взглянуть на Александра, царя македонского. Он и сам был известен и в Коринфе и далеко за его пределами — Диоген из Синопа, странный мудрец. Он угрюмо презирал богатство, ел что придется, облекал немытое тело в рваные тряпки, жил в бочке. Его побаивались, к нему испытывали жгучее любопытство, охотно слушали его гневные обличения, но, выслушав, шли, однако, домой, подходящую бочку для жилья искать еще никто не пытался. Кой-кто за грязный вид называл его собакой, а покойный Платон в свое время окрестил «беснующийся Сократ».

Александр не мог не слышать о Диогене, ему еще не довелось видеть человека, который оставался бы к нему равнодушен. Такого следовало завоевать. И предводитель эллинов в сопровождении торжественной свиты и теснящейся толпы горожан направился к бочке.

Диоген лежал на мусорной земле, грелся на солнце — сивая от пыли борода, копотно-черное, пропаханное морщинами лицо, костляво-крючковатые руки, усохшее тело, укрытое бурым от грязи, ветхим гиматием, из-под которого торчали босые, узловато-старческие ноги с обломанными ногтями. Он не пошевелился, лишь приподнял мятое веко, глянул дремотно темным глазом на юного властелина, на остолбенело-величественных вельмож, на толпу, сдерживаемую воинами в начищенных латах. На поклон и вежливое приветствие царя он небрежно кивнул нечесаной головой.

У Александра персиковый румянец на щеках, влажные глаза, в смелом разбросе густые брови, плечи широки, певучими складками с них стекает легкий, из заморской «древесной шерсти» хитон, перехваченный золотым поясом. В кроткие минуты он обычно клонил голову влево, глядел сейчас с серьезным — почти детским —

любопытством на лежащего во прахе прославленного философа.

А свита позади, полыхающая пурпуром, сверкающая серебром и золотом, недоуменно взирала на встречу людей, схожих друг с другом ровно столько же, как солнце в небе с придорожным булыжником. Один равен богам, а в другом нет человеческого, даже не раб, почти животное. Но на этот раз господином держится не богоподобный — царь почтительно стоит перед возлежащим ничим.

И Александр почувствовал: победить не в силах, любая победа тут окажется смешной в глазах всех. Но в его силах осчастливить.

— Что могу для тебя сделать? Проси! — произнес он в порыве.

Диоген повел темным взглядом и смежил мятые веки.

— Посторонись немного. Ты закрываешь мне солнце.

Свита замерла, а толпа пришла в движение. Не все слышали ответ, но все хотели его знать.

— Клянусь Зевсом! — воскликнул царь с молодой запальчивостью. — Если б я не был Александром, то стал бы Диогеном!

Он кинул последний взгляд на дремлющего черноногого философа, и свита почтительно расступилась перед ним...

Все схлынули, остался один — невысок, худошав, на скуластом лице в подстриженной бородке прячется насмешливая улыбочка. Он подошел и, осторожно подвернув белую хламиду, опустился на землю.

— Ты узнаешь меня, Диоген?

Сумрачный глаз блеснул настороженно и недоброжелательно. Диоген не ответил.

— Не притворяйся, что не помнишь меня, — с усмешкой продолжал подсевший.

— Хорошо помню, — сипло объявил хозяин. — Этот ребенок возит тебя с собой, Аристотель Стагирит, как дорогую игрушку.

— Он перестал играть в логику и этику, Диоген. Он теперь собирается играть народами и царствами. Я больше ему не нужен.

— Однако ты все еще с ним.

— В последний раз. Возвращаюсь в Афины, там ждут меня ученики попроще.

Диоген сердито фыркнул:

— Будешь снова учить — принимайте этот гнусный мир, и он примет с объятиями вас.

Аристотель по-прежнему таил в бороде усмешечку.

— Из твоей бочки мир действительно выглядит непривлекательно.

— Я спрятался от него в бочку потому, что досыта нагладелся, как люди испакостили его. Больше не хочу видеть.

— Испортили мир? Значит, он когда-то был хорош?

— Он и сейчас еще хорош там, куда люди не могут добраться.

— А как ты мог видеть такие места, Диоген, куда люди не добрались?

— Подыми голову, Аристотель, — сердито сказал хозяин бочки. — И делай это почаще. Видишь небо? Оно чисто, не затоптано и не заплевано. Сравни его с грязной землей. А ласточек видишь?.. Они свободны и счастливы. Такой чистой когда-то была и земля. И на ней жили свободные люди, которые, как ласточки, не желали себе много.

— Их наказали боги?.. Ох, это старая сказка, Диоген.

— Не лукавь со мной, Аристотель. Я же знаю — ты не из тех, кто кивает на богов. И я не глупей тебя. Люди сами наказали себя.

— Кто и когда это сделал?

— Не все ли равно — когда. Давно! Стерлось из памяти... А кто первый начал портить жизнь — догадаться можно.

— И кто же? — поинтересовался Аристотель. — Наверное, такой же жадный до власти, как Александр Македонский, почтивший тебя сейчас?

Диоген презрительно хмыкнул:

— Плоды созревают после того, как из семени вырастет дерево. Александры появились потом.

— Кто же тот злодей, бросивший дурное семя?

— Усердный земледелец! — своим сильным голосом возвестил Диоген.

Аристотель с прищуром уставился на него — пыльная борода, хмурый лоб, мятые веки, под ними беспокойные глаза. Прячась в бочке, это старый почитатель

Сократа, похоже, слышит все, о чем говорят его собратья. Совсем недавно Аристотель высказал мнение, что наилучший из всех людских слоев — земледельцы, бесхитростно делающие свое дело, всех кормящие, ни во что не сующиеся, не стремящиеся править другими людьми. Они никому не приносят вреда — только пользу. Воистину соль земли. Диоген делает выпад.

Аристотель посерьезнел и спросил наивежливейше:

— Объясни мне, чем земледelec, да еще усердный, мог испортить счастливый мир.

— Он понял, что мотыга плохо кормит его, догадался построить себе соху, запряг в нее вола...

— Разве это преступление, о Диоген?!

— Самое большое. Такого преступления никогда не сделает твой Александр, как бы он со своими войсками ни старался убивать, разрушать, сжигать. Александр — кроткий агнец, если сравнить его с первым погоняльщиком вола на поле.

— Темны мне твои слова, Диоген.

— А ты поднапрягись, чтобы понять: пока есть мотыга, не может быть зла! — с сердитой сипотцой, торжествующе. — Если ты даже очень сильный, то все равно не заставишь меня, слабого: бери мотыгу, добывай мне хлеб. Меня же придется кормить, чтоб я мог работать. А мотыгой, хоть надорвись, много не добудешь, едва-едва хватит быть сыту одному. Какой же расчет, посуди сам, Аристотель, тебе применять силу ко мне — все, что ни сделаю мотыгой, уйдет на меня же, тебе достанется совсем ничего. Уж выгоднее тебе самому ковырять землю, чем возиться со мной.

— Но ведь если я силен и бессовестен, — возразил Аристотель, — то почему бы мне не использовать тебя, слабого, на самой тяжелой работе — взрыхлении земли? В это время я могу даже кормить тебя, чтоб совсем не обессилел. Использовать, а потом выгнать. Зачем содержать тебя весь год, если самое тяжелое сделано? Урожай я уж как-нибудь сам сыму. Это легче. Мотыга не избавляет от зла, Диоген.

Диоген приподнялся, глаза его теперь сверкали среди спеченных морщин.

— Ты выгонишь меня вон — иди куда хочешь! Ты дашь мне свободу! Ну так на следующий раз я уж постараюсь не попасть тебе под руку. Да и другие тоже будут обходить тебя стороной. При мотыге ты со своей си-

лой не разгуляешься — ни меня, ни кого другого рабом своим быть не заставишь. Сам ворочай. Жадность твоя обуздана! Бесстыдная сила твоя связана! Ты не можешь никому сказать: я твой господин! И жестокость свою над кем ты покажешь?.. Или я неверно говорю?

Аристотель задумался.

— Продолжай, Диоген,— наконец попросил он.— И вот усердный земледелец догадался соорудить соху...

— И не только соху! — запальчиво возразил Диоген.— Но и выкормил вола. Мотыгой! А это не каждому по силам. Только самому усердному.

— Пусть так,— согласился Аристотель.— Что соха без вола...

— Я не кляню этого земледельца, Аристотель, нет! Он и не знал, что открывает злую дверь в мир. Он хотел только больше обработать земли, больше получить хлеба, чтоб не голодать с детьми. И получил... Да, да, соха не только накормила его досыта, но дала лишний хлеб. Лиш-ний, Аристотель! Тогда-то все и случилось. Тогда слабого уже можно заставить — ходи за сохой, добывай мне, сильному, хлеб, а я стану кормить тебя, как кормлю вола. Кормить и погонять, чтоб держать новых волов, новых рабов и еще больше, больше получить себе с них. Не насытиться уже никогда! В мире родилась жадность, Аристотель. От жадности — жестокость. От жестокости — ненависть! Мир испортился...

— И все началось с сохи...— Прежняя усмешка вернулась к Аристотелю.— Заставим земледельцев разбить свои сохи. Возьмем снова в руки мотыги. Ты этого хочешь, Диоген?

— Теперь уже надо разбивать не только соху, а все, что она нажила,— дворцы и богатые дома, театры и ристалища, даже храмы... Пусть даже боги не смущают нас богатством! Надо собрать все золото какое есть и утопить его в море. Надо заставить скинуть богатые одежды и сжечь их на площадях. Тех, кто посмеет противиться, предавать смерти. Человек должен вернуться к самому себе!

— То есть должен походить на тебя, Диоген?

— Я показываю, как можно быть счастливым, когда ничего не хочешь.

— Жаль, что ты не видишь себя со стороны, счастливый человек.

— И все-таки мне позавидовал даже он, сын могущественного Филиппа, юный царь македонский!

Всклокоченный, одно тощее плечо выше другого, лицо темное, иссеченное, что кусок выветренной скалы, и безумием горящие глаза, и черные искривленные ноги из-под грязного гиматия — «беснующийся Сократ».

Аристотель рассмеялся:

— Он умен, этот юный царь. Ты своим безобразием сейчас украсил его, сам того не заметив. Позавидовал... Да слава о его странной зависти разнесется по всей Элладе. Все станут повторять его слова, удивляться им. Неужели ты мог хоть на миг поверить, что он... он, владыка эллинов, собирающийся сокрушить спесивых Ахменидов, уляжется вместе с тобой в бочке? Не смеши, Диоген!

И Диоген приосанился, вздернул вверх пыльную бороду.

— Ты прав. Признаю, его слова лживы. Он всегда будет всех только обманывать — обещать славу, а приносить кровь, даровать счастье, а вызывать ужас и слезы, щедро бросать богатства и превращать хватающих царские подачки в своих рабов. И в благодарность за все это чей-то меч поразит его, как недавно поразил его отца. Ты так не считаешь, Аристотель?

— Все возможно, Диоген, — согласился Аристотель.

— А-а! — восторжествовал тогда Диоген. — Признал это, признай и дальше: не лучше ли всем вести себя так, как веду себя я! Не рваться ни к славе, ни к богатству, не завидовать другим, не надрываться на работе, чтоб получить лишнюю гроздь винограда. Кому тогда придет в голову замахнуться на тебя, обидеть, отнять твою жизнь?

— Все, как ты, Диоген?

— Все, как я! И это так просто!

— А позволь тебя спросить: почему ты не завел в своей бочке семью, не вырастил детей?.. Не надо, не отвечай, без того ясно. Тот, кто довольствуется бочкой, не хочет себе лучшего, вряд ли сумеет хорошо заботиться о детях. Им возле бочки придется недоедать, зарастать грязью, мерзнуть от холода. И если они не умрут, то вырастут слабыми и болезненными, дадут хилое потомство. Все, как ты, готовые иметь самое малое, лишь бы не осложнять жизнь. Да люди выродятся тог-

да, Диоген! На земле будут выть волки в одичавших виноградниках.

— А не получится ли иначе, Аристотель: люди соперничая в жадности, так ожесточатся, что перегрызут друг друга? И тогда волки в одичавших виноградниках все равно будут выть.

— Оглянись, Диоген, кругом. Оглянись повнимательней! Лев в пустыне грызет газель, коршун в небе хватает ласточку, лисица жрет мышь, а все живое, однако, не оскудевает. Так повелевают боги. Или кто-то свыше богов. И не тебе, Диоген, сокрушать это.

Напряженно скособоченный Диоген устало обмяк, отвел глаза, долго угрюмо молчал.

— Ты прав, всезнающий Аристотель,— глухо согласился он.— Боги жестоки... Вот потому-то я и прячусь от них в бочку. Ничего не прошу у богов себе, но и помогать им не хочу. Иди, угодный богам Аристотель из Стагира, иди, тебя ждут новые ученики. Одного уже ты вырастил для мира, кажется, он щедро напоит его кровью. Готовь других, говори им, чтоб не стеснялись душить друг друга и не стонали, если кто-то станет душить их. Так уж заведено в нашем мире. Иди, Аристотель, я хочу спать.

И Диоген полез в свою бочку.

Аристотель поднялся, стряхнул мусор со своего белого хитона, улыбнулся в подрубленную бородку:

— Пожалуй, ты нашел способ быть счастливым — проспять жизнь. Таких не следует будить. Прости меня, Диоген, больше не потревожу.

Диоген не ответил.

Он прожил в своей бочке еще тринадцать лет и умер на восемьдесят первом году. В тот год в далеком Вавилоне от загадочной болезни скончался полный сил грозный завоеватель мира Александр Македонский. Он избежал меча, но избежал ли яда?..

Аристотель пережил их обоих только на год. Он что-то плохо ладил с афинскими богами и афинскими правителями, ему пришлось удалиться на остров Эвбею, жить последние дни в изгнании. Из всех языческих философов христианство приняло только его, много веков прикрывалось его могучим авторитетом.

Сноровистый земледелец, вырастивший вола, приспособивший его к сохе,— незаметное событие в истории. Столь же незаметное, как в огромной плотине, запрудившей большую реку, просочившаяся первая капля. Но за этой первой каплей, проложившей себе путь, пойдет вторая, третья, капля за каплей, и вот уже слабенькая струйка, жалкий ручеек который крепнет, ширится, превращается в большой поток, прорывающий плотину. Зная напор воды, толщину, плотины, плотность грунта, инженер может рассчитать скорость размыва, то есть математически выразить совершающийся процесс.

Но на этот процесс могут повлиять некие случайности, предусмотреть которые невозможно: в верховьях реки вдруг выпадут проливные дожди, увеличат напор воды, некоторые неуправляемые неравномерности в насыпи облегчат размыв или, напротив, вызовут осадку плотины и размыв задержат...

История загромождена фатальными случайностями... Случайно солдат, защищавший Тулон, ранил капитана Бонапарта в ногу, а не нанес ему смертельную рану, скажем, в живот или грудь. Тогда бы не было Наполеона, не было бы тех побед, какие одержала Франция в Европе, не было бы в России войны 1812 года и Лев Толстой не написал бы свой великий роман «Война и мир». И вообще, что было бы и не было в нашей жизни и как бы сейчас она выглядела? Если случай фатален, то чего стоят закономерности, которые мы пытаемся улавливать в окружающем мире?..

Я вглядывался в далекие времена, пытался вывести общий показатель в развитии условного рабовладельческого хозяйства.

Раб, наверное, работал ленивее стародавнего земледельца — не для себя старался. Но хозяйственный механизм, составленный из таких рабов, способен был совершить то, что патриархальному хозяйству и не снилось, а значит, интенсивнее шли рост и развитие.

В маленьком, неразвитом хозяйстве господин сам хозяйским глазом наблюдал за своими немногочисленными рабами, собственноручно палкой подгонял нерадивых. Но вот хозяйство разрастается настолько, что хозяйский глаз уже не может угледеть за всеми рабами, до

каждого не дотянешься палкой — ставь надсмотрщиков.

Надсмотрщик ничего не производит, но обеспечивать его надо не в пример лучше, чем раба, иначе не станет усердствовать, блюсти хозяйские интересы.

Хозяйство растет, и хозяин уже не успевает следить за многочисленными надсмотрщиками, приходится и над ними ставить старших надзирателей. Чем дальше, тем больше — прибегай к услугам управляющих...

Получается: количество рабов увеличивается лишь в одном измерении, а надзирающий за ними непроизводительный штат — в двух, так сказать, и вширь и вверх, значит, и расходы на него возрастают в удвоенном темпе.

А рабский труд не очень-то продуктивен, неизбежно приходит момент, когда доходы расширяющегося хозяйства начинают съедаться управлением. Экономь на рабах! И без того голодные, обессиленные, они снижают работоспособность. Погоняй их сильнее! Но как?.. Еще больше увеличивай число надсмотрщиков, еще больше отрывай от изможденного раба?.. Порочный круг, полная безысходность, агония истребления.

Этот процесс, где несоразмерный количественный рост приводит к несовместимым противоречиям, — первое, что удалось мне выразить математической зависимостью. Именно этот процесс и породил движение, которое мы именуем христианством. В агонии ожесточения призыв к любви, как крещендо избавления, должен был дорасти до предела — люби не только ближнего своего, но и врага своего! Даже врага! Дальше некуда.

Казалось бы, так ли уж нужен математический подход, чтоб доказать неизбежность Христа? И без математики сие с успехом доказывается. Ой ли?.. Появление именно такой, а никак не иной индивидуальности в ходе человеческого развития есть случайность. Индивидуальности неповторимы! И если допустить, что родился не Христос с его уникальными особенностями, а кто-то другой, на него не похожий, то как это отразится на истории — темна вода во облацех.

Но для того чтобы умозрительно отобразить Христа у истории, необходимо то и другое представить себе не иначе как в виде связанных между собой признаков. Признаков незаурядной личности и признаков эпохи. Своими собственными силами и математической сноровкой такое море я не расхлебаю. Раз уж решил бросить

перчатку господину Случаю, значит, должен быть и вооружен надлежащим образом.

Мы с Ириной Сушко усиленно готовились принять в свои руки интеллектуальное оружие — электронно-счетную машину.

2

Раньше новые знания получали «вручную». Галилей сам смастерил первый телескоп и открыл с его помощью четыре спутника Юпитера. Левенгук собственноручно шлифовал линзы для своих микроскопов и узрел невидимый до тех пор мир микробов. Даже Резерфорд в начале нашего века ремесленнически изготавливал необходимую для научных экспериментов аппаратуру.

Сейчас ученым приходится отказываться от кустарщины. Синхрофазотроны физиков, оптические и радиотелескопы астрономов — технические установки, сравнимые с промышленными объектами. Все большая часть государственного бюджета в развитых странах идет нынче на то, чтобы обеспечить добычу неосязаемого, нематериального продукта — знаний.

Давно вошедшее в обиход устройство, хозяйственникам помогающее решать сложные производственные задачи, физикам — раскрывать таинственные взаимодействия элементарных частиц, космическому центру — рассчитывать траектории аппаратов, летящих к Венере и Марсу, мы собираемся превратить в заветную Машину Времени.

В академгородке, где расположен наш филиал, есть свой вычислительный центр, гордостью и украшением которого является стоящая в отдельном зале Большая электронно-счетная машина последней модели — БЭСМ-6. Таких машин не так-то уж много по стране. Но помимо нее существуют и другие, поменьше, попроще, помедлительней. Все они не стоят без дела, так как вычислительным центром пользуется не один наш институт, а и все прочие, расположенные в том же утопающем в зелени городке. Обслуживаются иногда и клиенты со стороны. Рабочее время машин стоит дорого, особенно Большой, быстродействующей. Я же не настолько богат, чтобы мог оплачивать его из своего кармана. Да если б и смог, все равно сунуться в наш вычисли-

тельный центр не осмелился бы. С какой стати физик-теоретик является вдруг с программой... убийства Иисуса Христа в глубине истории? Это никак не вяжется с теми задачами, которые разрабатывает наш институт.

И я уныло философствовал перед Ириной:

— Академик Арцимович как-то сказал, что наука есть лучший способ удовлетворения любопытства отдельных лиц за счет государства. Но, во-первых, можно ли еще называть нашу затею наукой? Пока она только дилетантское увлечение. Кроме того, государственное учреждение, в котором я служу, явно не разделит моего личного любопытства.

Ирина Сушко, затягиваясь сигаретой, щуря от дыма длинные жесткие ресницы, ленивенько осведомилась:

— Что, совесть мучает — зря получаете свой профессорский оклад?

— Ну, до мучений мне дойти, положим, не дадут, лямку тянуть заставят — консультации, рефераты, сошествия разные... Однако и афишировать пока желания нет, что душой влез в другую упряжку.

— А я, похоже, и душой и телом с вами — от всех предложений теперь отказываюсь.

— Ценю такую преданность и казню себя, что не могу обеспечить вас, Ирочка, достойным орудием труда. Нам, наверное, не следует мечтать о высокопроизводительном комбайне, нам бы жаточку-лобогреечку попроще. Не высоковельможную БЭСМ, а какую-нибудь скромную, но безотказную М-4030.

— У меня есть намерение оседлать ЕС-1065.

Мне ровным счетом ничего не говорил этот буквенно-цифровой код, мог только догадываться, что под ним скрывается вычислительная машина определенной марки.

— Что-то не слышал о такой.

— Неудивительно. ЕС — последнее слово третьего компьютерного поколения.

— Третьего! Выше рангом БЭСМ-6?!

— БЭСМ, как вам известно, второе поколение. Выше у нас пока ничего нет.

— И сколько же таких машин в Москве?

— Возможно, всего одна.

Я уставился на Ирину, словно мальчишка на фокусника, только что вынувшего из шляпы живого зайца.

— Кто нас к ней допустит, Ирочка?

— Ребята, которые с ней сейчас возьмется. Я с ними немножко знакома.

— Понимаю, знакомство — сила, но не настолько же великая, чтобы пробить нам проход к такому уникальному оракулу. Вокруг него наверняка стоят плотной стеной жаждущие от самых влиятельных организаций, не нам чета, жалким гуманитариям.

— В том-то и дело — никто еще не стоит. Заявок пока не принимают.

— Ну?..

— Ну а опробовать-то на чем-то новорожденного оракула надо. Пусть его обкатают на нашей задаче. Жрецам оракула, наверно, самим будет интересно приложить руку к покушению на Христа.

Я склонил голову перед дерзостью Ирины, хотя и не очень-то верил в успех ее авантюры.

Однако как плохо я себе представлял, в какого делового человека выросла бывшая студенточка мехмата. Через несколько дней Ирина объявила:

— Заметано. Вам придется нанести визит вежливости жрецам. Постарайтесь быть обаятельным.

...В самом центре Москвы есть глухие, сохранившие душок старины уголки, куда лишь доносится сторонний шум больших улиц, где прохожие редки, а всезнающие шоферы такси чешут в затылке, вспоминая, где же находится такая набережная. А с этой тихой набережной не видно Кремля потому только, что его закрывают стены вовсе не высотных зданий.

Когда-то здесь были соляные склады, потом подсобные помещения одной из самых первых электростанций столицы, ныне давно бездействующей, теперь же тут вычислительный центр, один из крупнейших в городе. И обслуживает он главным образом энергетиков, помогает им управлять энергосистемами, раскинувшимися по всей нашей обширной стране с ее тысячекилометровыми высоковольтными линиями, уникально гигантскими и типовыми станциями, с ее разноликим потребителем в виде промышленных городов и периферийных деревушек с животноводческими комбинатами.

До сих пор я бывал в вычислительных центрах, где высокие окна, обильно пропускающие солнце, пластиковая роскошь, шаткая современная мебель, парадная современность, выпирающая из всех углов. Здесь же сумрачная величавость, присущая только старым москов-

ским домам, затертые лестницы, узкие окна, пробитые в толстых стенах, к тому же загроможденные объемистыми кондиционерами. В бывших соляных складах теперь ревниво поддерживается нужная температура: интеллектуальные машины капризны — отзываются на малейшее охлаждение и потепление. Сами машины работают беззвучно, зато постоянно гудят вентиляторы, создавая впечатление, что попал в производственный цех. Да так оно и есть, здесь обрабатывают, причем в массовом масштабе, поточным способом, информацию. И комнаты на этажах, освещенные лампами дневного света, действительно очень напоминают цехи каких-то фабрик местного значения. Вокруг машин, смахивающих скорей на холодильные шкафы, обычно толчется много народу, озабоченного и далеко не всегда занятого делом, — большей частью это программисты, терпеливо ждущие своей очереди (или рассчитывающие протиснуться без очереди). У всех нерешенные срочные вопросы, каждый надеется, что машина объяснит их.

Заветная ЕС-1065 стояла в одной из таких тесных комнат. Теснота здесь вызвана не только тем, что в бывших соляных складах не хватает помещений — оно так и есть, — но еще и тем, что аппаратура должна быть расположена на определенном, достаточно близком расстоянии друг от друга. Оказывается, нам придется иметь дело не с одной машиной. ЕС означает — единая система, система нескольких машин. Ее основной, центральной частью является электронный мозг, состоящий из сотен тысяч ячеек. Именно в нем и возникает вихрь импульсов — да и нет, единица или ноль в строго заданном порядке, миллионы раз в секунду. К нему подключено оперативное запоминающее устройство, устройство, считывающее перфокарты, устройство, считывающее с дисков, которые подаются сразу целым пакетом, устройство печатающее и пр. и пр. Все они объединены в одно целое. ЕС — компактный комбинат вычисления. С его помощью, например, можно за неуловимое мгновение — пять миллисекунд — отыскать нужную цифру в справочной библиотеке, состоящей из тридцати двух томов объемом в двести страниц каждый. Проворность и мудрость оракула здесь почти равнозначны.

Жрецы и пифии окружали его — бойкие ребята в потасканных свитерах, резковатые, самостоятельного вида

девицы. Они все, даже те, кто очень молод, сталкивались со всяким — с трагическими авариями величественных энергосистем, каких даже не случалось в действительности (но могут случиться!), им наверняка приходилось нырять в глубь атомного ядра, тасовать народонаселение земного шара, прорываться в просторы Вселенной, а потому наша подготовка к убийству Христа в глубине веков для них, конечно, любопытна, но не более того.

По совету Ирины я изо всех сил старался быть обаятельным — держался запросто, но в простачка не играл, удивлялся совершенству машины, но дал понять, что смыслу в компьютерах, не стеснялся расспрашивать, сам рассказывал, почему вдруг изменил физике, какие именно секреты пытаюсь прощупать в истории. И, по-моему, добился, что досужее любопытство жрецов превратилось в явную заинтересованность... Затем мы спустились вниз к руководителю вычислительного центра — без его разрешения доступ к ЕС получить нельзя. Ирина заранее уже переговорила обо всем с ним. Главный жрец был лишь немногим старше подведомственных ему жрецов, не успел обрести начальственные замашки, был улыбчив и доброжелателен... Словом, все устроилось как нельзя лучше.

В приподнятом настроении я вышел вместе с Ириной через проходную на набережную. В канале, идущем параллельно Москве-реке, среди разводьев черной воды дотлевал серый лед, в воздухе ощущался пресный, подмывающе свежий запах весны. И я, счастливый авантюрист, с пафосом продекламировал бессмертные слова Остапа Бендера:

— Лед тронулся, господа присяжные заседатели! Лед тронулся!

Ирина повела на меня своим агасферовским глазом:

— Георгий Петрович, вы отслужили свою мессу в этом храме, больше в нем вам делать нечего. Будете только путаться у меня под ногами. Сама без вас со всем справлюсь.

Меня бесцеремонно отшивали от оракула, я лишь поставщик продукции для его интеллектуального чрева. Что ж, согласен, вполне устраивает.

Но как бы хотелось пережить святую минуту! Заложил со всеми подобающими ритуалами внутрь машины запрограммированный кусок истории, нажал бестрепетно соответствующую кнопку и... нате вам, сотворил Время. Стрелки твоих часов отмеряют твои секунду за секундой, секунду за секундой всего сущего на Земле: привычные шажочки из прошлого в будущее, торжествующее шествие матери-природы, крестный путь неуемного человечества — всепокоряющее, неумолимое Время. А вот ткнул пальцем в кнопку, и... рядом, в электронных недрах, за пластиковым покрытием возникает время другое, скопированное с нашего, но уже независимое, не схожее своим бешеным темпом. На твоих часах секундная стрелка проскакивает одно деление, но в машинном организме проходят десятилетия, за наши минуты минуют многие века, умирают и нарождаются поколения, появляются и сходят на нет народы, вырастают и рушатся государства, выдающиеся герои вершат свои дела, остаются в памяти. Прошлое неистово повторяется, то, что давно умерло, восстает из праха. И ты не успеваешь даже пошевелиться. Ты бог, вновь возродивший былую жизнь!

Увы и ах, такой светлой минуты пережить не дано. Проигрывание времени, как и всего прочего, оказывается, утомительно тяжелое, длительное, прозаическое дело.

Ирина Сушко выстроила тот материал, который мы с ней успели подготовить, в алгоритмы, таинственные для несведущего, понятные для машин. Я принялся разрабатывать дальше, а она с пачкой бумаг в тисненном портфельчике направилась в вычислительный центр. Там она получила броское (но весьма, однако, условное) название для нашей программы — «Апостол», пакет дисков для записи, место для него на полке и занялась для начала в общем-то несложной операцией — набивкой. Всю кропотливо созданную программу, окрещенную «Апостолом», надлежало перенести на картонные карточки величиною с ладонь — перфокарты. Это совершается с помощью особого механизма — перфоратора, электрифицированного собрата пишущей машинки. В результате весь наш вымученный труд предстал в виде дырочек, рассыпанных по многочисленным карточкам. Это, так сказать, черновик рукописи, предлагаемой машине.

В ней наверняка будет много ошибок и досадных неточностей, а значит, много раз придется перебирать карточки, перебивать их заново, вносить исправления.

Этим делом Ирине суждено заниматься едва ли не на протяжении всей работы — и до и после того, как ее допустят к машине. Допускают... Дают всего лишь три — пять минут. Стопка карточек придавлена увесистой крышкой — утюгом на жаргоне программистов, — машина начинает поспешно слизывать их, стопка тает... Вот тут-то, казалось, почему бы и не наступить святой минуте. Но нет...

Даже скупо выделенные три минуты Ирина не использует. Слизав все карточки, машина в первую же минуту выдает результат. Волшебно оживает стоящая рядом пишущая машинка, сама по себе начинает с победной бойкостью стучать, оракул вещает строчками на листе и... несет какой-нибудь несусветный бред. Почти всегда! Не случается, чтоб с первого же раза он сообщил что-нибудь вразумительное.

С этого момента начинается длительная борьба программиста с машиной, она тянется не день, не два — многими месяцами, порой годами. Ищется взаимопонимание, вскрывается ошибка за ошибкой, подгоняется, видоизменяется программа, какие-то логические ходы в ней оказываются произвольными, какие-то понятия — недоступными машинному восприятию, требуют углубленной расшифровки, мельчайшие упущения вырастают в гротесковые искажения. Программист должен проникнуться педантичным машинным характером, сам стать педантом, быть пристрастным к любой запятой, интуитивно чувствовать, в каких именно местах программы машина может споткнуться, с какой стороны обойти ее косное упрямство. Опытный программист — тоже провидец, иначе он не обуздает оракула, станет получать от него только галиматью. Такой тяжкий период работы называется будничным словом «отладка».

Капризы неукротенного оракула подразделяются на два вида — сбой и заикливание. И того и другого за время своей битвы с ЕС-1065 Ирина получила в избытке.

В начале отладки машина однажды выстучала беспелляционный вывод: рабство принципиально невозможно. И поставила точку, отказываясь вникать в дальнейшую часть программы. Оказалось, что виноват я,

слишком категорически указавший — с помощью мотыги человек способен лишь прокормить себя и детей. Машина это приняла за исходную аксиому и сделала из нее заключение: раз способен обеспечить едой только себя и детей, то выкормить вола, крупное и прожорливое животное, и вовсе недопустимо. Без вола же не будет интенсивной запашки, не окажется и тех излишков, которые дают возможность содержать рабов, рабство исключено... Пришлось разубедить электронного оракула, внося поправки в доходность мотыжного земледелия. Обычный сбой по нашему упущению — недостаточно точны были в посылках.

В другой раз высокоумный оракул, дойдя до кризиса господского хозяйства, когда штат надсмотрщиков стал пожирать доходы, пришел к решению простому, как колумбово яйцо. Нет же прямого запрета избавляться от лишних рабов, и электронный прозорливец в погоне за доходом бестрепетно уничтожил их, заодно сократил и господские земли, избавил господина от необходимости держать обременительных надсмотрщиков. Но на этом оракул не остановился, продолжал работать. Господское хозяйство у него снова разрасталось, снова в нем стало слишком много рабов, пришлось ставить над ними многоэтажный штат надсмотрщиков, пожирающих доход, что вновь привело к экзекуции... Оракул намеревался крутить так до бесконечности, случилось заикливание.

Сама Ирина устраняла лишь мелкие погрешности, но там, где требовалось внести что-то в программу, бежала к нам, в наш штаб «террористической группы» с арочным окном на шумную улицу на пятом этаже институтского корпуса. А в нем ее встречал уже не я один. Нашего полку прибыло, у меня появились еще два помощника.

4

Мимо меня прошло немало молодых людей, которых могу с полным правом назвать учениками. Кой-кто из них тоже стали уже докторами, сами теперь имеют учеников. Вот уже три года, как я покровительствую Мише Копылову. Он самоотверженно предан мне, я отношусь к нему с тем отцовским чувством, с каким когда-то относился ко мне командир дивизиона Голенков. Однако должен признаться, что сей родственный союз

приносит весьма скромные результаты для науки — более бесшабашного ученика у меня не было.

Нельзя сказать, что Миша не даровит. Он поразительно легко усваивает знания, способен отличить главное от второстепенного, интуитивно найти красивый ход конем в сложившейся ситуации, но... тут же забыть о ней, метнуться к другому. Поразительное жизнелюбие не дает ему сосредоточиться на чем-то одном, он из тех, кто вопреки предостережению Козьмы Пруткова пытается объять необъятное.

Миша невысок, неширок даже в плечах, но плотно сбит, грудь круто выпирает вперед, голова без шеи, но горделиво посаженная, носит рыже-пегую окладистую бородку, за что в обиходе зовется Дедом — Миша Дедушка, — нос пуговицей, глаза светлые, быстрые, веселые, всегда отутюжен, щеголеват, пружинист. Он мастер спорта по шахматам, у него первый разряд по каратэ — ребром ладони разбивает кирпичи — и этим выдвинулся до заметной фигуры в институте, где едва ли не каждый второй чем-то славен и знаменит. Миша кипуче деятелен — ведет секцию каратистов, организует встречи с артистами и литераторами, участвует в праздничных капустниках и вообще — «Фигаро здесь, Фигаро там». Он лишь временами ныряет в науку увлеченно, с головой, но, увы, чаще всего эти увлечения не деловые, а романтические.

Рассказывают, Александр Твардовский как-то бросил фразу: «В каждой науке существует свой снежный человек». Наш XX век падок на сенсации, склонен к мифотворчеству. Физика, пожалуй, грешит этим больше других наук. В ней подчас даже невозможно отличить, что бредовый вымысел, а что серьезная научная гипотеза, то и другое выглядит одинаково невероятно. Миша Дедушка поочередно загорался идеями: Вселенной, сокращающейся до элементарной частицы, фридмона; некими фантастическими прорехами в пространстве; вакуумом, рождающим частицы, то есть появлением из ничего нечто. Мир для Миши прежде всего интересен чудесами и фантазмагориями. Я смертельно обидел бы его, если б не привлек к заговору покушения на Христа. Ирина Сушко после первой же встречи окрестила Мишу Манилушкой, но я-то знал: он способен не только на маниловские прожекты.

Нам, дилетантам в истории, нужна была помощь про-

фессионального историка, но такого, который без предубеждений принял бы нашу затею. Миша сразу же сообщил:

— Нам необязательно иметь дела с маститым доктором наук?

— С маститым необязательно, а сведущим — да.

— Аспирант, подающий большие надежды, подойдет?

— Подойдет.

— Будет. Приведу.

И привел — весьма молод, мягок, сдобен, глуповато круглолиц, по первому взгляду доверия не вызывает.

— Зыбков Анатолий. — Без излишней застенчивости первый протянул мне руку, румяные щеки раздвинуты в обезоруживающую улыбку, эдакий юный Стива Облонский.

Я начал разговор издалека: нас интересует влияние человека на собственное развитие; первая палка, использованная приматом, внесла усовершенствование в его природу; от палки к скребку, от скребка к рубилу, к каменному топору и дальше вплоть до современных машин — непрерывная цепь влияний человека на жизнь, на свою судьбу связана с акциями, совершаемыми отдельными личностями...

Наш гость, молодое дарование, удобно расположившись на шатком стуле, слушал и по-кошачьи ласково жмурился на меня.

— Вы хотели бы знать, может ли быть управляемо это влияние? — спросил он вкрадчиво, и я сразу же почувствовал: эге, не так-то прост, как кажется, в его подбитом легким жирком теле, ей-ей, прячется каверзный характер.

— Хотел бы... — ответил я. — Но не смею рассчитывать. Самое большее — надеюсь уловить конкретные признаки влияния. Как вам уже известно, собираемся провести операцию с конкретной исторической личностью и посмотреть, чем мы ей обязаны.

— Да-а, от отдельных личностей зависят судьбы рода людского... Да-а...

— От отдельных личностей исходят толчки общего развития, — поправил я.

— Но если б Уатт не изобрел паровую машину, это сделал бы кто-то другой. Неизбежно.

— Верно,— согласился я.— Другая личность! Вот и разберемся, легко ли они взаимозаменяемы.

— Ага, понял. Потому вы и на Христа замахнулись, что он кажется наиболее трудно заменяемым.

— Или очень легко. Стоит проверить.

И молодое дарование Толя Зыбков приоткрыл на меня зеленый, вовсе не дремотный, а пронизательный глаз.

— Стоит,— согласился он.— Если вы не против, я с удовольствием в вашей компании поиграю с историей в поддавки.

Так создалась моя маленькая команда — «флибустьеры и авантюристы по крови горячей и густой», решившиеся пробиться в I век нашей эры, чтоб совершить там убийство, которого быть не должно.

В штабной комнате с арочным окном каждый день совещания. Ирина измучена единоборством с бестолковой машиной, без того узкое ее лицо сильно осунулось, торчит только внушительный нос да пугающие брови в грозном разлете. Она делает сейчас самое трудное — пробивает нам брешь из настоящего в прошлое. Я страдаю из-за того, что бессилён ей помочь, а Толя Зыбков, уютно угнездившийся в креслице сбоку от меня, подбадривает:

— Ничего, Ирина Михайловна, справитесь. Вы интеллектуально жилистая женщина.

Ирина поводит в его сторону носом.

— Ты, сурочек, скрытый хам.

Толя обезоруживающе улыбается, не возражает.

Мы не можем ждать, когда Ирина взнуздает своего оракула, идем дальше, прокладываем трассу. Если оракул начнет понимать Ирину, прорыв совершится, тогда они непременно понесутся галопом, мгновенно нас нагонят. Сейчас мы прощупываем то время, когда выплеснулось наружу христианство. Рабство в агонии, но оно продлится еще долго, несколько веков. Оплот рабства Рим пока что велик и могуч, все трепещут перед ним...

Мне даже моментами грезятся картинки. Вижу пыльную дорогу в опаленной бурой степи. Вдоль нее столбы с перекладинами, на которых распяты рабы. (Такие придорожные украшения с истлевающими смрад-

ными трупами и усохшими костяками порой тянулись на многие сотни стадий, на десятки километров, не прерываясь, от селения к селению.) И важно кружатся над ними стаи ожиревших птиц.

По дороге вдоль мрачного парада смерти неторопливо — шаг легионера отмерен — двигаются римские когорты. Блестит солнце на шлемах, качаются вскинутые на древках значки, щетинятся жгучими остриями пилумы, верное Риму страшное оружие, — копья с чудовищными наконечниками в два локтя отточенной стали. Идут когорты, оседает за ними ленивая пыль. Куда идут?.. Не все ли равно? Но там, где им назначено появиться, прольется кровь, нагромоздятся новые трупы. Иначе зачем же им шагать под палящим солнцем, в пыли, нести свои пилумы?

Страхом и ненавистью охвачен мир. Никто на земле не чувствует себя в безопасности. Никто — ни обоженный при жизни владыка вселенной римский император, ни самый ничтожнейший из презренных рабов. У каждого хронический страх за себя, у каждого непроходящая ненависть к другому. В кошмарном мире только отчаянной отвагой можно подавить ужас и ненависть — только предельной любовью...

— Рим — мировой центр жестокости и насилия, а христианство возникло не в нем, а в провинциальной Иудее. Почему? — Трезвый Толя Зыбков стреляет в меня очередным вопросом.

И я пытаюсь найти объяснение:

— Рим не был бы эпицентром насилия, если б не создал внутри себя мощного механизма, охраняющего сложившийся насильнический порядок. Проповедники любви душились бы в Риме при первом же изданном ими звуке...

— Это очень важно учесть, — озабоченно вставляет Ирина. — Иначе машина споткнется, выкинет нам колесце.

Но дотошный Толя не удовлетворен:

— «Люби»-то выступало в религиозной одежке, а ведь римлян того времени религиозными фанатиками назвать было нельзя. И у них там всякие идеи бродили, а вот Христа миру не они выдали. Почему?

И взрывается Миша Дедушка:

— Все не так! Все не то! Еврейский народ не поразил мир ни шедеврами искусства, ни научными откры-

тиями, а только своей воспаленной совестью. Он выдал человечеству Христа. Предопределенности!

— Кем? — спросил вкрадчиво Толя.

— Природой! Она не абы как шалтай-болтай движется — целенаправленно, тоже свою программу выполняет!

— Прикажешь мне вложить предопределенность в машину? — осведомилась Ирина.

— А как ты смеешь этого не учитывать?

— И ты знаешь, Манилушка, что тогда получится?

— У твоей машины схема перегорит. Не переварит великого?

— Нет, лапушка. Она довольна будет, ухватится за твою предопределенность, ко всякому вопросу станет ее приклеивать. Почему возникло рабство? Предопределено. Почему оно стало закисать? Предопределено. Электронный ханжа ничем не лучше ханжи двуногого.

— Ирина Михайловна, нельзя ли без намеков! — Толя Зыбков с наигранной обидой.

— Что ты, сурочек, не имела тебя в виду.

— Не себя, не себя — друга защищаю! — На круглой физиономии Толи невинное простодушное огорчение.

Миша Дедушка рассвирепел:

— Ну вас к черту!

Почти каждый день такие громогласные споры.

5

Нам надо отчетливо представить того, на кого мы покусаемся. И не только его прославленную в веках деятельность, но и сам человеческий облик. Очень важно выяснить, как отражаются на ходе истории индивидуальные особенности выдающихся личностей, даже самые незначительные.

Реальный Христос, разумеется, несколько не походил на того богочеловека, каким создала его человеческая фантазия множества поколений. Но и образ того же Александра Македонского, в существовании которого не смеет никто усомниться, для нас теперь тоже ведь покрыт толстым слоем легенд, скрывающим реальные черты. Тем не менее мы довольно легко прокапываемся сквозь этот слой, достаточно отчетливо представляем себе конкретный облик великого полководца.

При некотором усилии и Христа можно очистить от напластований, воссоздать — пусть относительно — в живом виде. Но при этом не следует забывать, что не случайно он возведен в бога...

А напластования начались сразу же после его трагической смерти. Слава о нем стала распространяться по странам, им жадно интересовались, о нем рассказывали не только были, но и небылицы. Жизнеописания его появились позднее, их составляли люди, вряд ли лично знавшие Христа. Установлено, что самое раннее из канонических Евангелий — от Марка, в нем сквозь легендарность отчетливо проглядывают реальные черты. Последующие евангелисты домыслили даже то, что нищий проповедник оказался потомком царя Давида. Но и у них можно выловить следы действительности.

И верующие Лев Толстой и Достоевский, и неверующий Максим Горький отмечали высокие литературные достоинства Евангелий. Не потому ли, что эти легенды написаны выдающимися мастерами? Ой нет, на наш изощренный вкус, их мастерство, право, далеко не безупречно: частые назойливые повторы и многословие, где требуется скупость, скупость там, где необходима развернутость, порой невнятность изложения, позволяющая трактовать текст произвольно, наконец, и образность не всегда-то зрима — из всех четырех Евангелий, увы, нельзя даже приблизительно представить себе внешний облик Иисуса. И тем не менее это сильная литература, спустя тысячелетия продолжающая воздействовать на нас. В чем секрет ее силы? Да в том, что она повествует об исключительно яркой, обаятельной личности.

Иисус Христос — поэт, никак не строгий мыслитель. Только поэт мог проповедовать с такой беспечной безответственностью перед логикой. В одном месте с покоряющей страстью призывать: «Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас!» В другом с той же страстью заявить прямо противоположное: «Не думайте, что Я пришел принести мир на землю, не мир пришел Я принести, но меч».

И сам Христос не считает наличие ума исключительным достоинством человека — мешает безоглядно предаваться вере: «Блаженны нищие духом...»

«В то время,— повествует Евангелие от Матфея,— ученики приступили к Иисусу и сказали: кто больше в Царстве Небесном? Иисус, призвав дитя, поставил его

посреди них и сказал: истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное; итак, кто умалится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном».

По-детски наивный и доверчивый человек, по мнению Христа, не должен ни о чем задумываться, обременять себя никакими заботами. Чем поддержать свое существование? Каким способом добыть себе пропитание? Самые насущные, самые проклятые вопросы, которые испокон веков висели над людьми, Христос разрешает с умиленной простотой:

«Посему говорю вам: не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, ни для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи, а тело — одежды? Взгляните на птиц небесных — они не сеют, не жнут, не собирают в житницы; и Отец Ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их?»

О последствиях такого прекраснодушного наставления Христос беспечно не думает.

Его почитали спасителем всего страждущего человечества, верили: не кто иной, как Иисус Христос, сокрушил тесные национальные рамки. Однако исследователи теперь уже не сомневаются, что очищенный от мифологических наслоений Христос вовсе не столь широк. Он был озабочен судьбой лишь одних евреев и не собирался осчастливить другие народы. В Евангелии от Марка есть одна красноречивая сцена:

«Ибо услышала о Нем женщина, у которой дочь одержима была нечистым духом, и, пришедши, припала к ногам Его; а женщина та была язычница, родом сирофиникиянка; и просила Его, чтобы Он изгнал беса из ее дочери.

Но Иисус сказал ей: дай прежде насытиться детям; ибо нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам.

Она же сказала Ему в ответ: так, Господи, но и псы под столом едят крохи у детей.

И сказал ей: за это слово пойдя; бес вышел из твоей дочери».

Евреи — дети, все остальные — псы. Лишь смиренный ответ заставил сострадательного Иисуса поступить своими убеждениями, помочь иноплеменнице.

Он откровенно осуждает имущих, тех, кто «служит Богу и мамоне»: «Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие».

Но тем не менее Христос не решается призвать к возмущению, уклончиво наставляет: «Отдай кесарево кесарю, а Божие Богу». Опять чисто поэтическая непоследовательность!

Евангелисты ни словом не обмолвились о его облике, но какие-то скудные сведения к нам все-таки пробивались.

Теперь при упоминании его имени любой и каждый невольно видит перед собой несколько инфантильного красавца с кротким лицом, короткой бородкой, ниспадающими волосами. Однако враг христианства Цельс, философ-стоик, друг императора Марка Аврелия, пишет: «Между тем люди рассказывают, будто Иисус был мизерного роста и с таким некрасивым лицом, что оно вызывало отвращение». Цельс, яростный противник христианства, мог наговорить всякого. Но дело в том, что этого не отрицает и Тертуллиан, неистовый сторонник Христа. «Облик его был лишен какой-либо красоты и обаяния», — отмечает он.

Непримиримый враг и горячий последователь, один в Риме, другой в Карфагене, независимо друг от друга примерно столетие спустя после смерти Иисуса высказывают одну и ту же версию. Значит, эта версия была широко распространена, ни у кого не вызвала сомнения. Если б Христос был даже не прекрасен, а просто заурядно нормален по внешнему виду, то такого единодушия уж наверняка бы не существовало. Его сторонники упреки в некрасивости воспринимали бы как оскорбительный поклеп. Однако и позже даже Ориген, запальчиво критикующий во всем Цельса, не возражает, что Христос уродлив. Он лишь старается оправдать уродливость, увидеть в этом его божественную сущность: дух, мол, возвышается над бренным телом.

Внешность — не досужий вопрос. Мысленно представим себе первых слушателей Христа, бесхитростных жителей Галилеи. В их неискушенном понимании все, что от бога, должно быть непременно совершенным, поражать воображение. Прежние пророки это учитывали, старались привлечь к себе внимание людей необычным видом — Иеремия, например, проповедовал с ярмом на шее. Иоанн Креститель «имел одежду из верблюжьего волоса», жил в пустыне, питался акридами, был истощен постом.

Иисус Христос не прибегал к таким традиционным

приемам, акрид не ел, постом себя не изнурял, садился вместе со всеми за стол, пил вино и одевался, должно быть, неплохо, если римские солдаты во время казни бросали жребий — кому достанется его одежда. Ничем внешне не поражал, более того — был некрасив, а значит, ему приходилось преодолевать не только косность сознания своих слушателей, но и невыгодное впечатление, которое поначалу он у них вызывал.

Конечно, легче всего объяснить: такова, мол, была покоряющая сила его слова — гений устного творчества! И, казалось бы, Евангелия, своеобразные литературные шедевры, подтверждают это. Высказывания, приписываемые ими Иисусу, разошлись по миру в крылатых пословицах.

Но даже самое проникновенное слово бессильно, когда оно противоречит вековым привычкам и традициям. А именно их-то, традиции ортодоксального еврейства, рискованно ломал Иисус из Назарета. Выступить против субботы, назвать себя ее господином, когда малейший, даже самый безобидный, проступок против нее строго — вплоть до смерти — наказывался. Нет, тут мало одного красноречия, оно должно подкрепляться еще чем-то более убедительным.

Все четыре канонических Евангелия едва ли не в каждой главе повествуют о чудесах, которыми Христос подкреплял свои слова, — исцелял неизлечимых больных, оживлял мертвых, пятью хлебами накормил досыта пять тысяч голодных людей, по воде ходил, яко посуху... Казалось бы, нам ли принимать во внимание эти наивные небылицы?

Однако над ними-то я и задумался...

Современники Иисуса воспринимали мир совсем не так, как мы. Для нас свет не может возникнуть сам по себе, из ничего, обязательно должен быть его источник. А их нисколько не смущало, что бог в первый день творения приказал: «Да будет свет!» — и лишь на четвертый сотворил светила «на тверди небесной». Для нас весь мир тесно взаимосвязан, одно не в состоянии существовать без другого, любое явление — некий процесс, для них же все сущее — результат чьей-то воли. И если изнемогающий от жажды путник не выбивал ударом посоха из скалы родниковую струю, то вовсе не считал — это вообще невозможно. Возможно, только не каждому по-сильно. Чудо тогда представлялось реальностью, чу-

дотворец — искусником, а потому и прослыть чудотворцем было нетрудно.

Особенно в исцелении. Больных в те времена было наверняка подавляюще много. Напряженная и неустойчивая жизнь Палестины с ее тройной властью — Рима, тетрархов, первосвященника, — с враждующими многочисленными сектами, с беснующимися пророками, пугающими божьими карами, концом мира, способствовала массовому психозу. Припадочные, паралитики, покрытые паршой на нервной почве (их могли принимать и за прокаженных) встречались на каждом шагу. Все они с неистовой страстью жаждали чудесного излечения. Современные психотерапевты могут лишь мечтать о такой клиентуре.

И тот, кто обладал талантом словесного внушения, легко мог превратиться в чудотворца-исцелителя. Было бы скорее странно, если б Иисус Христос избежал этой роли, не использовал столь мощное оружие для утверждения своих идей. Он, разумеется, не кормил пятью хлебами тысячи голодных, по воде, яко посуху, не ходил, мертвых не оживлял, но возратить способность двигаться парализованной руке, наверное, ему было под силу, как и избавить от припадков «одержимого бесами», как и очистить от нервной экземы тело... А этого вполне достаточно, чтобы поверили в его сверхъестественную силу, простили ему неказистую внешность.

Загадочное для исследователей обстоятельство — отношение Иисуса к своей матери и семейству. В Евангелии от Марка Иисус проповедует в одном доме... «И пришли Матерь и братья Его и, стоя вне дома, послали к Нему звать Его. Около Него сидел народ. И сказали Ему: вот Матерь Твоя и братья Твои вне дома, спрашивают Тебя. И отвечал им: кто Матерь Моя и братья Мои? И, обзрев сидящих вокруг Себя, говорит: вот Матерь Моя и братья Мои; ибо кто будет исполнять волю Божию, тот Мне брат и сестра и Матерь».

Отзывчивый и доброжелательный ко всем вплоть до случайных встречных, Христос тут проявляет холодную сдержанность, если не настораживающую суровость, его ответ звучит почти как отречение от родных.

Что кроется за этим ответом, какая семейная драма? Биографических данных о частной жизни Христа совсем нет. Загадку представляет даже его отец — плотник Иосиф. Евангелие от Марка совсем не упоминает о нем,

лишь у Матфея и Луки появляется вскользь имя этого человека.

Конечно же мое представление об этой жившей две тысячи лет назад личности, столь сильно поразившей воображение человечества, далеко не полно. Но ведь и праланцетник, существовавший в непроглядно крошечном прошлом, за миллиард лет до нас, оставивший в память о себе лишь жалкие отпечатки в осадочных породах, тоже наверняка чем-то не соответствует воссозданному палеонтологами облику. Однако характерные признаки все же сохранились, их оказалось достаточно, чтоб использовать в моделировании эволюционного процесса.

6

К моим соображениям о личности Христа каждый из участников флибустьерской группы отнесся по-своему.

Миша Дедушка возликовал:

— Это вы здорово сказали, Георгий Петрович: «Чудо тогда представлялось реальностью»! А я скажу больше — чудо и сейчас реальность! Да! Только оно не влезает в наш косный детерминистический образ мышления... Ирина Михайловна, как вы концепцию чуда трезвой машине преподнесете?

— Не беспокойся, деточка. Психотерапия давно уже пользуется вычислительными машинами, — охладила Ирина.

— Психотерапия... Эх! Эмпирики заскорузные!

Толя Зыбков на этот раз не сказал своего обычного «нет», поворочавшись в креслице, задумчиво произнес:

— «Кто Мать Моя и братья Мои?..» Георгий Петрович, а мне кажется, эту загадочку все-таки тронуть можно.

— Как?

— Цельс, если помните, между прочим, упоминает...

— Ты хочешь сказать о Панфере?..

— О нем, Георгий Петрович.

Вот тот же враждебный христианству Цельс поведал о ходившем в его время слухе, будто бы мать Иисуса Мария отличалась легким поведением, изменяла мужу с римским солдатом, греком по национальности, Панферой, была выгнана из дома, родила внебрачного сына

в чужой конюшне. Та же история изложена и в талмудистском трактате «Авода Зара».

— Поздний и нечистоплотный навет,— возразил я.— Кто из ученых принимает это всерьез?

— Ну а если на минуту принять?..

— Мешает, Толя.

— Что, Георгий Петрович?

— Ты это должен знать не хуже меня — лютая еврейская ортодоксальность тех лет. Самый последний нищий из евреев считал тогда себя выше иноплеменного вельможи. А уж женщину-еврейку, уличенную в прелюбодеянии с необрезанным, в живых бы не оставили. И сын ее, если б уцелел, нес на себе проклятие до конца дней. С такой славой пророком не станешь — плевались бы в его сторону, шарахались, как от прокаженного.

Из-под крутого надлобья на меня взирали ясные, с весенней прозеленью глаза.

— Все так, Георгий Петрович,— остороженько согласился Толя.— Все так, если б Мария была уличена.

Миша Дедушка не выдержал:

— Тогда не уличили, сейчас собираешься?!

Но Толя упрямо гнул свое:

— Но в таких деликатных делах редко налицо оказываются прямые улики, куда чаще смутные подозреница, а с ними и наветики... Только не задним числом, как у Цельса, сто с лишним лет спустя после смерти Иисуса, а еще до его рождения, когда у мамы Марии живот замечен стал: мол, с солдатом видели: шепоток подлый. Могло так случиться?

— Что за удовольствие ворошить вонючие пеленки тысячелетней давности! — проворчал в бороду Миша.

— И в самом деле, к чему нам бытовые мелочи? — поддержала Ирина.

— Злые шепотки не такая уж мелочь, Ирина Михайловна. Если они были, то ох сильно отравляли жизнь матери Христа. Сын-то для нее — сплошное проклятие! Удивительно ли, что она любила его меньше других детей. А сам Иисус разве не страдал от грязных подозрений?.. Горькое у него получается детство. Не оттого ли он рано уходит из дома, не оттого ли к матери и братьям прохладен?..

На безмятежно круглом лице Толи сквозь постыдное смирение проступает торжество. Ирина Сушко рассердилась:

— Из домыслов шубу шьешь, мальчик! Гляди — платьем голого короля обернется!

Толя вкрадчиво улыбнулся:

— А вы, Ирина Михайловна, в математических доказательствах никогда не прибегаете к допущениям?.. Ну так чем мы хуже вас, математиков? И как только допустим существование раннего навета, нам открывается — Иисусу еще в детстве пришлось отстаивать человеческое достоинство. Еще в детстве! Знаменательно, Ирина Михайловна! Знаменательно!

Наступило озадаченное молчание. Три пары глаз уставились на меня.

Действительно, стоит только нам принять эту вовсе не исключительную, а, напротив, весьма обыденную житейскую коллизию, как она, вместо того чтобы ложиться на Иисуса компрометирующим пятном, начинает освещать формирование его необычного характера. Именно еще в ранней юности Иисус должен был уже обрести и свои нравственные позиции и ту силу убеждения, которые впоследствии поразят мир. Ничтожные натуры озлобляются от враждебного окружения, значительные преодолевают его. Испытывая постоянно необходимость в человеческом уважении, в человеческой доброте, они становятся их глашатаями. Набившая оскомину истина: несчастье калечит слабых и закаляет сильных. Иисус, прежде чем стать Христом, должен был пройти нелегкую школу жизни.

Недели две мы занимались анатомированием Иисуса Христа, разбивали его на отдельные признаки. Ирина Сушко кодировала их, выстраивала соответствующим порядком. Не такое, оказывается, уж и фантастическое дело — представить человека, даже сложного, глубокого, противоречивого, в виде некой формулы. Впрочем, нет, не самого человека, а всего-навсего свое представление о нем, сложившийся в наших головах образ.

И однажды Ирина, как всегда, стремительно, ворвалась ко мне, бросила на стол тисненый портфель.

— Откройте и посмотрите!

В портфеле лежала небрежно завернутая в бумагу толстая пачка перфокарт.

— Чувствуете, что вы сейчас держите в руках?

— Иисуса Христа?..

— Имен-но!

Иисус Христос в виде стопки тонких картонок, испещренных дырочками.

— М-да-а...

7

Казалось бы, мне надлежало перенести свой флибустьерский штаб домой — за чашкой чая спорь на разные голоса хоть до полуночи, жена будет только рада. В последнее время она работала по договору с одним ведомственным издательством, сверяла технические расчеты — работа утомительная и нудная, но с уходом сына в армию Катя просто не могла заполнить образовавшуюся в ее жизни пустоту. Наши встречи разогнали бы застойную тишину, а кроме того, я всегда мечтал, чтоб жена прониклась теми увлечениями, которым я отдавал себя без остатка. Раньше это было невозможно, с багажом институтской физики, приобретенным тридцать лет назад, она даже подступиться не могла к проблемам, какими я жил. Самый близкий мне человек и одновременно далекий. Сейчас не так трудно и понять, и принять, и стать соучастницей, но...

Это «но» для меня было полной неожиданностью. Оказывается, где-то под спудом, на самом дне моей души таился невнятный страх — осудит! За что?! За то, что хочу «алгеброй гармонию поверить», за то, что подменяю чувство холодными расчетами. Осудит, погасит пламя, вместо поддержки найду в ней противника... Подспудное, неосознанное ощущение, которое давил в себе и не мог от него отделаться.

Я никогда ничего не скрывал от Кати и теперь сообщил ей свой замысел, но в общих чертах, в виде набежавших предположений. Она выслушала, пожала плечами, даже не особо удивилась, не выказала желания узнать поподробнее. Я это принял как разрешение — действуй по-прежнему в стороне от меня. Потому-то и собирал свой штаб под крышей института, хотя при случае это могло вызвать и справедливые нарекания: чем занимаетесь, профессор Гребин?..

Пришло очередное письмо от сына. Сева довольно часто писал нам, но, право же, каждое письмо мы распечатывали с душевным замиранием. Хотя, казалось бы, чего тревожиться — сыт, одет, под надзором, служит

себе в глубине Сибири, никакой опасности. Но Сева из тех, кто спотыкается и на ровном месте.

И в самом деле — вот письмо... Оно длинное, путаное. «Дорогие мои, долго колебался — сообщить вам или промолчать...» Суть же сообщения, лежащая под нагромождением оправданий и путаных отступлений, проста: сошелся с женщиной, которая рассталась с мужем-пьяницей, имеет десятилетнюю дочь, после окончания службы намеревается остаться у нее, вести простую трудовую жизнь в глухом таежном крае... Возраст женщины стеснительно не упомянут, зато многословно перечислены ее достоинства — добрая, чуткая, самоотверженная и так далее.

Первый порыв матери — немедленно собираться и ехать к сыну. Я остановил:

— Хватит думать и решать за него. Пусть сам разберется.

— Разберется, да будет поздно.

— До конца службы почти полгода. Есть время опомниться.

— А если не опомнится?

— Тогда отнесемся внимательней к его желанию. Вдруг да это не увлечение и не блажь, может, он действительно не представляет себе без нее жизни.

Катя сидела передо мной — высоко вскинута голова, жаром охвачены скулы.

— Послушай!.. — Возглас, словно хруст жести под каблуком. — Да любишь ли ты сына?

И я даже растерялся.

— Ты из тех, у кого большая голова и маленькое сердце. Ты отравлен абстрактной любовью...

— Не понимаю, Катя.

— Ты можешь помочь человеку — просто помочь мне, сыну, соседу, приятелю?.. Нет! Если только походя, невзначай. И то — любить кого-то, какая малость, стоит ли ею себя утруждать. Всех людей, все человечество, никак не меньше. Тут уж и сам готов сгореть дотла, и все гори вокруг... А вокруг-то тебя мы — я и Сева!..

— Да неужели я настолько бесполезен, даже вреден для окружающих?

На секунду она замялась, бегающий взгляд замер:

— Разве о пользе идет речь, Георгий?.. О любви! Твои слова близки к тривиальной отповеди всех бес-

сердечных отцов: зарабатываю на жизнь, приношу пользу — что еще вам от меня надо? Любви, дорогой мой! Любви! Которую никакой пользой не купишь. А для таких, как ты, любовь лишь предмет изучения — нельзя ли из нее извлечь нечто. Раскраиваете на части, суммируете, обобщаете — подопытная собака на лабораторном столе...

— Что же, не смей над ней задумываться — запретно! Будем смиренно повторять вслед за Христом: люби ближнего, люби врага своего...

Презрительно дернула подбородком.

— Вслед за Христом?! Не я, это ты вслед за ним... Христос из вас первый, кто любовь омертвил.

— Даже так? — удивился я.

— Люби ближнего... Для Христа ближние все, даже первый встречный. Не знаю его, случайно встретила, впервые вижу — любить его? А для меня любовь — это готовность собой жертвовать. Ради первого встречного? Нет, как бы ни насилвала себя, а не смогу. Противозачинательно! А вот тебя знаю, с тобой сроднилась, срослась, а уж сын и вовсе — самая дорогая часть меня самой... Любить вас, жертвовать собой для вас — да, да! Самое естественное состояние, иначе и жить не смогу... И если я буду сына своего любить больше самой себя, а сын так же своего сына, свою жену, то, как молекулы, цепляясь одна за другую, создают неделимое вещество, так и люди, любя только самых najbliżких, свяжутся воедино. Не надо от человека требовать невозможного — люби всякого. Люби того, с кем тебя жизнь тесно переплела, — вот тогда-то вселенская любовь свяжет всех, от меня протянется прочная спайка через najbliżких к самым далеким. Тогда мир охватит не условная любовь, не выдуманная, а обычная жертвенная... Разум — великое благо? Может быть. Только за всякое благо непременно чем-то платить приходится. И за разум тоже. Сомнениями, недоверчивостью, подозрительностью... Человек разум получил, а вместе с ним и порчу... Разъеденные сомнениями люди не способны любить даже самых najbliżких: родители — детей, дети — родителей...

Катя замолчала и отвернулась. Молчал и я. Во мне росло тяжелое изумление. Оказывается, она любила меня и не верила в мою любовь, служила мне и осуждала меня. И давно ли так?.. Не всю ли совместную жизнь?..

Жили рядом и были в одиночестве — у нее свое, у меня свое! И не заметил, как она наедине с собой пришла к выводам, с которыми я не просто не согласен, а не могу совместить себя с ними — иначе думаю, иначе живу. Как нам слиться воедино? Друг же без друга существовать не можем!

— Катя, не клевети на себя,— сказал я.— Ты вовсе не такая, какой себя представляешь.

Она отвела за ухо мешавшую прядь, и лицо ее, усталое лицо с вкрадчивой текучестью скул, с выпуклым лбом, тронутым морщинками, верхней губой, сурово попирающей нижнюю, щемяще знакомое, до стоны родное лицо, выразало сейчас привычную покорность — говори, слушаю, возражать не буду, но знай, что останусь при своем.

— Ты считаешь, что только любовь к самым ближайшим свяжет людей воедино... Но разве люди никогда не грабили, не насиловали, с ожесточением не истребляли друг друга ради того только, чтоб их горячо любимые дети жили лучше других? Любовь к ближайшим! Да она постоянно оборачивается слепой звериной ненавистью ко всему светлому и темному миру. И мир таким отвечает той же лютой ненавистью. Не разновидность ли самовлюбленности эта ограниченная любовь — мое, не посягай, горло перегрызу! Всемирная прочная спайка эгоистически любящих? Ну нет, не мечтай! Чем они любвеобильней, тем разобщенней... Ты любишь Севу, Катя... Да, знаю, ради него готова пожертвовать собой. Но скажи: принесешь ли ты ради Севы в жертву другого, хотя бы первого встречного?.. А! Молчишь!.. Проповедуешь то, чему сама никогда не следовала.

Склоненное лицо Кати по-прежнему выражало покорную усталость. Она не собиралась возражать мне, и потребуй — признает мою правоту, сознается в своей ошибке, но от этого ей легче не станет. И своего мнения обо мне она не изменит, по-прежнему будет любить меня и не верить в мою любовь, служить и осуждать...

Спор с Катей продолжал жить во мне и на другой день. Я не смел обвинять ее, но себя не щадил.

А ведь действительно большую часть своей жизни

ты вкладываешь в дело, для жены, для сына — какие-то остатки...

Но замкнись на семье, не отдавай себя на сторону — и станешь выглядеть ничтожным в своих и чужих глазах, и, наверное, даже жена задумается, за что же тебя, собственно, любить, и у сына будут основания тебя презирать.

И все же стоит ли твое дело такой отдачи — жизнь оптом, семье остатки? Оглянись трезво: что значительного ты сделал? Никак не корифей в физике, твой вклад в науку весьма умеренный. И от этого вклада, право же, счастья на земле не прибавилось. А сейчас вот ухватился за то, что другие благоразумно обходят. Не случайно обходят, не рассчитывают на результаты. Почему ты должен оказаться счастливее их?

Не кажется ли, что тебе просто интересна деятельность ради деятельности, пахота ради пахоты?.. А сыну по занятости не успел передать своего...

За арочным окном моего институтского скворечника бежал переменчивый денек, то хмурился, кропил дождичком, то брызгал горячим солнышком, и город улыбался голубым многоэтажьем.

В самый разгар саморазоблачений на лестнице, ведущей к моей двери, раздался суматошный перестук каблучков. Дверь толчком распахнулась — мокрые от случайного дождя кудри, взметнувшиеся брови, сверкнувшая улыбочка — Ирина Сушко шагнула вперед и подбоченилась. Что-то принесла.

— Ну! Можете поздравить!

— С чем?

— Переписала на диски...

Мне не надо объяснять, что это значит. Если перфокарты — черновая рукопись, которую следует беспощадно править и переделывать, то запись на дисках в данном случае означает: программа переписана начисто. Правда, при нужде и тут еще можно что-то изменить. Можно, но нежелательно.

Ирина уселась нога на ногу, сапожок с высоким каблучком покачивается над полом, темный глухой свитер обтягивает грудь, тонкая рука с сигаретой на отлете и капризные женственные губы.

— Теперь — под горку с песнями. Спешите, спешите, иначе потопчу!.. Э-э, а что вы меня так внимательно разглядываете? Давно не видели?

— То-то и оно, что вижу часто, Ирина, а вот поймал себя на том, что знаю вас только с фасада.

— Здравствуйте! А зачем вам мои задворочки?

— Открылось вдруг — никак не пойму себя. Не потому ли, что плохо знаю тех, кто со мной рядом?

Склонив голову, Ирина, как птица, боковым взглядом разглядывала меня.

— У вас что-то стряслось, Георгий Петрович?

— Ничего особенного. Просто обвинили — глядишь поверх голов людей.

Она отвела глаза, секунду-другую молчала, наконец обронила:

— Что ж, верно.

Кающийся жаждет возражений, а потому согласие Ирины больно меня царапнуло.

— Разве и вас я обидел невниманием, Ирина?

Вздых и ответ:

— О да.

— Напомните — когда именно?

— С тех самых пор как мы познакомились.

Ирина — жесткие локоны, вздернутая бровь — глядела в стену на респектабельное изображение космического чудовища, галактики М51.

— Эта бабушка мой свидетель. — Ирина кивнула на растрепанную галактику. — Вы только что получили ее в подарок, не знали, куда повесить, так как еще не имели не только своего кабинета с подходящей стенкой, но и своего стола... Вы меня вальяжно принимали в вестибюле, бабушка была прислонена к стулу, мы оба любовались ею — вы искренне, я из вежливости. Пришла к вам девчонка, нуждавшаяся во всем: в деньгах, в идеях, во внимании, — а оттого вызывающе заносчивая. А вы и не заметили моей заносчивости... Вы с ходу бросились излагать мне суть дела... Помните ли?

— Помню, что вы походили тогда на общипанного грачонка.

— Ну а вы, разумеется, были самим собой, то есть ни на кого не похожи, уникальны. Вы никогда не замечали, что вам удивляются, вами любуются?.. Ах нет! Потому-то и не знаете самого себя...

— Смилюйтесь, Ирина, кончим об этом.

— Прошу прощения, прорвалось наружу, не удержу... Столкнувшись с вами, я, глупая девчонка, загорелась... Не поживайтесь, не вами загорелась, нет, а кем-

то, на вас похожим, которого должна встретить, вместе с ним сотворить головокружительное... вот теперь вы имеете право ухмыляться... Было ли тогда вам сорок? Пожалуй, еще не исполнилось. Но зеленой дурочке вы казались недостижимым стариком. Не кинулась вам на шею, не вцепилась в вас мертвой хваткой. Я и тогда уже была с характером — добились бы, не устояли бы...

Ирина зажгла новую сигарету, отбросила спичку, криво усмехнулась:

— И, право, чего я раскудаhtалась? Какая же я вам пара! Одноименные заряды при тесном сближении отталкиваются. Сойдись мы, кто б из нас вел хозяйство, кто следил за детьми?.. А вот то, что нас снова схлестнуло дело, считаю подарком судьбы. Серый мир для меня вновь расцвел, не барахтаюсь в кислом тумане... Но хватит! — Ирина резко встала.— Кончим эту лирическую щекотку. Поухаживайте за мной, подайте плащ.

Уже в натянутом плаще, качнувшись к двери, она обернулась с веселым проблеском из-под бровей.

— Хотите, удивлю признанием?.. Я бабушка!

— К-как?

— Приемная, правда. Внучка, собственно, не моя, а мужа. Но когда мы видимся, малышка чинно, как и положено, зовет меня бабушкой... Так-то вот, Георгий Петрович.

Однако броской концовки под прихлоп двери у Ирины не получилось, уйти она не успела, на пороге появились Миша Дедушка с Толей Зыбковым.

Я сообщил им новость:

— Ирина переписала программу на диски.

— Отметить! — решительно потребовал Миша.— И у меня есть повод для праздника. Сообщу не иначе как за столом.

В полуподвальном кафе подавали жиденькую солянку, яичницу-глазунью и выдержанный, не пользовавшийся большим спросом ввиду кусачей цены вкрадчиво-мягкий молдавский коньяк. Мы кутили. Ирина Сушко горела в румянце, сияла глазами и залиvisto смеялась.

Похохатывавший Миша Дедушка вдруг посерьезнел, решил открыться:

— Ту нашел... Нет уж, братцы, на этот раз безоши-

бочно! Если б вы знали, какая она... Легкая, как стрекоза. Когда я жду ее, мне не верится, что придет. А когда вижу ее, то тогда всегда вздрагиваю. И она не болтлива, вот уж нет — всегда очень внимательно молчит. Но уж зато если скажет... Одно слово, а у меня целый день все поет внутри... За нее! Очень прошу!

Раскисавший в блаженной улыбочке Толя Зыбков вдруг запел. Подперев толстую щеку, пригорюнившись, завел по-бабы страдающе:

Зачем тебя я, милый мой, узнала,
Зачем ты мне ответил на любовь?..

И, право, у него был приятный, чисто женский голосок, эдакое меццо-сопрано для домашнего употребления. Книжник и заумный спорщик. Обломов по обличью и многообещающий аспирант — и нате вам: «Зачем тебя я, милый мой, узнала...» с бабьими интонациями, бабьим голоском. Как нам не прийти в восторг. И тронутый этим восторгом Толя старался всюю продать себя подороже:

— Меня в детстве насильовали классической музыкой, а усвоил только пошлые романсы, учили рафинированного ребенка на скрипке, а играю лишь на балалайке: «Ах вы, сени, мои сени!..» Я человек способный, обождите, когда-нибудь отколю вам концерт...

Возвращался я домой навеселе. А дома ждала меня обеспокоенная судьбой сына жена, и стены нашей квартиры никак не располагали к легкомысленному веселью. Но... маленькая, однако нужная и долгожданная победа над электронным оракулом, неожиданно ошеломляющее признание вовсе не сентиментальной Ирины Сушко, светлое счастье Миши Дедушки, вовсе не стороннего для меня человека, обратная сторона ученого мальчика (надо же, балалаечник!), прекрасный коньяк, к которому, оказывается, не так уж я и равнодушен, а тут еще семейные осложнения — господи, до чего же, однако, полна моя жизнь! Ей-ей, из таких вот суетно заполненных одиночных жизней и складывается перенасыщенная событиями буйно-деятельная жизнь рода людского. Страдаем, стонем, скорбим, проливаем кровь, насильничаем, коснеем в невежестве, думаем, создаем, открываем и несемя победно через века и тысячелетия. Куда?..

Поверх портрета вселенской «бабушки» мы растянули по всей свободной стене карту Средиземноморья и Малой Азии — мир первых веков до и после рождения Христа. На карте скупом помечено: тут-то и тут-то пребывали такие-то народы. За именами одних встают из небытия целые эпохи, любой школьник может рассказать о них. Другие же народы даже специалистам известны только по названиям — мелькнули в письменных источниках, не оставили заметного следа. Какие-то народы и просто не помечены на этой карте — жили да исчезли, неведомы совсем.

Карта — тоже своего рода модель прошлого, но крайне схематичная, застывшая. Мы намерены создать модель действующую, которая должна развиваться по образу и подобию существовавшего мира.

Но как ни схематична карта, мы и ее не в силах использовать целиком, запрограммировать все те государства, какие изображены на развернутом по стене полотнище. Из всего лоскутно-пестрого многообразия мы выбрали лишь несколько стран в качестве определенных образцов. И как из отдельных закодированных характеристик мы составили относительно целостный образ Христа, так, разобрав сначала по частям, а потом вновь сложив воедино, мы получили некое подобие Римской империи, Иудеи, Греции, Египта. Наша модель мира намеренно сжата, предельно упрощена, сведена до минимума, но и в таком виде она стоила нам больших, кропотливых трудов в течение двух месяцев.

Однако и это не все. Модель наша должна быть населена. Известные поэты, художники, философы, полководцы, императоры, политические деятели, просто чем-то выдвинувшиеся из общей среды личности стали предметом нашего исследования. Если мы сумели Иисуса Христа вложить в машину, то в принципе ничто не мешало то же самое совершить со многими историческими личностями, нужны для этого лишь труд и время, время и труд.

А можем ли мы свою модель мира населить только выдающимися людьми? Наш схематический мир делится на господ и рабов, но такое деление далеко еще не отражает характер населения.

Среди рабов одни забиты до тупости — рабочий

скот, не более. Другие же таят в себе взрывную силу, постоянно прорывающуюся наружу. Восстание Спартака — самый мощный из прорвавшихся взрывов, но далеко не единственный. Были рабы-поэты, были рабы-философы.

Господа тоже не единообразны. Многие из них болезненно ощущают развал рабовладения, пытаются приспособиться, предоставляют рабам относительную свободу, наделяя их клочками земли. Кази, или казати, звали таких рабов в Риме. С ними смыкаются мелкие землевладельцы — колонны...

Нет ничего пестрее, чем масса свободнорожденного плебса. Среди них огромное количество пребывающих в нищете бездельников — тягостный балласт общества. Но свободнорожденный плебс вмещает в себя и кустарей-ремесленников и ремесленников-предпринимателей, содержащих мастерские, ведущих торговлю, обладающих зачастую крупным богатством, а значит, и определенным весом в стране.

А различие среди аристократической верхушки, а обособленная каста военных, а жреческое сословие...

Компактная модель обширного мира, заполненного пестрым населением... Мы изымаем из нее пророка из Назарета, по нашему произволу он, не успев проявить себя, погибнет в какой-нибудь ожесточившейся Вифсаиде. Скорей всего машине придется кого-то подобрать на выбор из тех, кого мы предлагаем на освободившееся место Христа. Но наша программа тут предусматривает даже и самотворчество машины, из отдельных закодированных характеристик она может сама создать некую условную личность, наиболее подходящую на роль Христа. И только одно запрещено машине — повторять код, который соответствует Христу. Нет смысла менять Христа на Христа. Должен быть кто-то иной, не идентичный.

И больше всего мы боялись утонуть в подробностях, наши усилия в основном были направлены на то, чтоб многоцветный исторический калейдоскоп свести к скупому колориту, к принципиальной схеме. Мы заранее должны смириться с тем, что наша модель станет походить на действительность, как модель авиалюбителя на сверхзвуковой воздушный лайнер. Но все-таки та и другая модель способна повторять действия оригинала — авиалюбительская летать, наша развиваться.

В трудах, в неудачах и посильных победах, в огорчениях и радостях прошла зима, вновь наступила весна. Полностью готовую программу, где Христос занимал свое место, Ирина Сушко прокрутила на машине, добилась полной отладки, и машина вынесла приговор: модель действующая, все в порядке, пора приступать к самому главному акту — акту уничтожения Христа...

Собственно, его совершила одна Ирина — просто стерла из программы «Апостол» воплощенный в символы образ Христа, пришла к нам, села нога на ногу, закурила сигарету и, шурясь сквозь дым, сообщила:
— Все готово. Завтра запускаю.

Был вечер, институт уже опустел, внизу под нами — пустые лаборатории, безлюдные коридоры, за арочным окном сыпал мелкий тоскливый дождичек, шумела улица. На улицах час пик, люди набиваются в троллейбусы, переполняют подземные переходы в метро, разъезжаются по домам, усаживаются перед телевизорами, собираются идти в театры и кино, никто не подозревает, что в этот уходящий день совершается странное убийство, какого еще не случалось во все существование человечества. Самое странное и самое бескровное!

И мы четверо в тесной комнатке на верхнем этаже здания со скромной, но почтенной вывеской Научно-исследовательского института физики, мы, группа террористов, не возбуждены, не насторожены, а скорей просто растеряны. Целый год ждали этот момент, напряженно готовились. Должны бы торжествовать, но... как-то все слишком буднично — и дождь за окном, и привычная тишина опустевшего института, и слишком уж знакомые, слишком обычные слова: «Все готово. Завтра запускаю». Сколько раз мы их слышали от Ирины Сушко. Не верится, что час пробил.

Миша Дедушка первый подал голос:

— Помните бабочку Брэдбери?..— с замогильной ноткой.

Мы молчали, вспоминая незатейливый рассказ американского фантаста.

— Иисус Христос, знаете ли, не бабочка... Что же будет?..

Ирина небрежно ответила:

— Свято место пусто не останется. Будет другой, совершит то же самое.

— Другой — он и есть другой. Непохожий явит себя миру сему, Ирина Михайловна.— Толя Зыбков, уютно угнездившись в креслице, жмурился в грозные брови Ирины.

Она снисходительно хмыкнула:

— Он, другой, будет иметь другой нос, другой цвет бороды, но не другие идеи.

— Оглянитесь на нас, Ирина Михайловна.— Толя Зыбков сладенько вежлив.— Вот здесь собрались четверо, учтите, единомышленников. Но я и Миша Дедушка не только же волосистостью подбородков отличаемся. И вы образом мышления на меня не похожи, и Георгий Петрович на нас, грешных... Только четверо, а какие различия.

— Не стоит, детишки, толочь воду в ступе,— дернула плечом Ирина.— Завтра выяснится, кто вместо Христа.

— Может, никого! — с прежней замогильной ноткой возвестил Миша.— Может, Христос действительно уникален и незаменим!

Я молчал, не вступал в гадания, но Толя Зыбков повернулся ко мне всем телом.

— Георгий Петрович, мы цареубийцы, освобождаем трон. Так позвольте задать законный вопрос: кого бы вы хотели возвести на него?

Я ответил уклончиво:

— Самого вероятного.

— Тогда кто же, по-вашему, наиболее вероятен?

— Я не оригинал. Почти все считают второй фигурой в христианстве Павла. Я тоже.

СКАЗАНИЕ ТРЕТЬЕ

О Павле, не ведающем Христа

Какой-то племенной вождь в какие-то безвестно далекие времена среди угрюмой пустыни, неприветливых темных скал, возле худосочной речушки, на горе Сион соорудил нехитрое укрепление, чтоб обороняться от назойливых соседей. В египетских манускриптах сохранилось письмо фараону Аменофису III от подвластно-

го царька Урсалимму, а в Книге Бытия упоминается город Салим с его правителем Мельхиседеком. Иерусалим не евреями создан, не ими назван, он древнее из древнейшей истории.

Иисус Навин разбил хананеев, среди них Адониседека, царя иерусалимского. Город вошел во владения колена Иудина, вошел, но власти над собой еще не признавал, был крепостью независимого горного племени иевусеев. И лишь Давид наконец захватил город, поселился на Сионе, укрепил его, перенес туда ковчег завета. Иерусалим стал столицей евреев, не только тех, кто проживал на земле обетованной, но и тех, кто был рассеян по чужим землям. Сион, град Давидов в нем — духовный центр, хранитель святынь, сам святыня.

Выросший из спаленной пустыни Иерусалим одноцветно сер, угнетающе безрадостен — глина и камень, среди сбившихся хижин редко можно увидеть пыльную, тяжелую зелень померанцевого дерева. Только в Нижнем городе дворцы Ирода и Асмонеев утопают в садах. Улочки, лезущие в глубь оврагов и ползущие наверх, кривы и столь тесны, что едущий на осле порой поджимает колени, чтоб не зацепиться за стены. Пластается угарный дым от очагов, запахи варева, помоек, густой кислый смрад перенаселенности.

В послезакатный час, когда суeta сменяется зыбким покоем, кто-то уже спит, забыв заботы и огорчения, кто-то, прячась в своих стенах, вполголоса устало судит день прошедший или наедине с самим собой с надеждой ли, без надежды размышляет о дне грядущем, когда просиненный воздух замирает перед обвалом темноты,— в этот час по узким улочкам двигался отряд парней. На молодых лицах грозная деловитость, устремленная решительность в каждой фигуре. И кой у кого из-под войлочного плаща торчит короткий меч. Запоздавшие прохожие или шарахаются в сторону, или жмутся к стене.

Идут те, кто называет себя слугами синедрионовыми. Сейчас их время вылавливать врагов первосвященника.

Никогда не было спокойно в Иерусалиме, нынче его лихорадит едва ли не сильнее, чем прежде. Сюда едут евреи из Рима и Александрии, из Коринфа и Филипп

Македонский, из недалекой Антиохии и дальнего царства Парфянского, где они осели еще со времени Навуходоносорова пленения. Едут, чтоб укрепиться в вере, а находят сомнения. Здесь, в Иерусалиме, каждый благовестит во что горазд, на свой лад толкует законы, стон и гам стоит от многоголосья. Нужен один голос, чтоб его слушались, и этот голос должен принадлежать первосвященнику, иначе зачем же он поставлен над всеми хранить древние святыни?

Нынешний первосвященник Иосиф Каиафа имеет осанку царя Соломона, но во всем послушен своему тестю Ганану. И в синедрионе среди семидесяти одного избранного сидят помимо самого Ганана еще пятеро его сыновей, им подчиняются остальные. Царствующие потомки Ирода Великого не смеют им перечить, римский прокуратор вынужден с ними считаться. Синедрион — высшая власть Иудеи и Израиля! А в народе непокорность, разброд. Можно ли такое терпеть?

На помощь высокому синедриону из гущи народной, из числа тех, кто хочет порядка, спокойствия и благочестия, — молодые силы!

Это сыновья разных семейств, выросшие ли в богатстве, вырвавшиеся ли из нищеты, родом ли из Иерусалима, из соседних ли городов или пришедшие издалека, знающие назубок Святое писание или бесхитростно невежественные, — все они горят неистовым желанием служить вере отцов.

Они ни в чем не сомневаются сами, не терпят сомнений в других.

Они не хотят ни о чем думать, так как знают, что за них думают избранные из избранных в синедрионе.

Они не терпят молчания, когда сами громко славят, не терпят крика, когда им наказано молчать.

Они всегда держатся сплоченной кучкой, у них молодые, крепкие мускулы, горячая кровь, а потому — берегись, не стой на пути!

Они за синедрион, и синедрион за них, им дозволено то, что не дозволено другим. Могут жестоко избить, могут убить — дело святое, суд на их стороне.

Пусть каждый трепещет, если они идут в свой назначенный час! Любой может вызвать у них подозрение, любой встречный может оказаться тем самым врагом, которого они ищут в жертву синедриону.

И случайные прохожие стараются сейчас исчезнуть с их глаз, а те, кто не успевает, сторонятся, клонят головы, глядят в землю, обмирают.

Впереди отряда — мягким шагом на выгнутых ногах, голова без шеи на перекошенных плечах, крепкий гнутый нос, угрожающие брови и жгучий взгляд из-под них — некто Савл. Он недавно появился в Иерусалиме, не могуч телом, не знатен происхождением, но сразу стал главарем среди слуг синедрионовых, и молодые головорезы подчиняются его неистовству.

За два полнолуния перед тем высокий синедрион судил Стефана из Антиохии, бесноватого языческого города, где и евреи заражались бесноватостью. Стефан говорил, что еврей, который одевается в индийские шелка, забывает о вдовах и сиротах, хуже бедного язычника, ломающего свой хлеб с другим таким же бедным. В Иерусалиме полно нагих и голодных, они толпами ходили за Стефаном.

В святом храме перед грозным синедрионом Стефан вел себя дерзко. Когда сам Каиафа со своего первосвященнического места важно сказал: «Перед тобой богоизбранные, презренный. Одно может спасти тебя — покаяние», — Стефан отрезал:

— Богоизбранные ли те, кто печется о чреве своем и забывает душу свою? Кого вы спасли и кому помогли?

И не понять было, кто кого судил — синедрион ли его, он ли синедрион. Гордеца приговорили к смерти, но перед храмом собралась большая толпа. И неизвестно было: так ли уж смиренно согласится она с судом?

Толпу расколол молодой Савл. Как только стража вывела Стефана в рваной одежде, с обнаженной мускулистой грудью, через головы толпы Савл крикнул ему:

— Забыл, что завещал нам господь: «Судей не зловь и начальника в народе твоём не поноси!»

И товарищи Савла с молодой яростью подхватили:

— Смерть тому, кто против господа нашего!

Толпа вздрогнула, колыхнулась, толпа вознегодовала, спасая веру свою:

— Смерть! Смерть отступнику!

Наверняка тут были сторонники Стефана — как не

быть! — но затаились, ибо гнев толпы, защищающей веру, страшен.

Через весь город вели Стефана, кликушествуя, извергая проклятия, славя все милостивейшего Иегову. Медники откладывали в сторону свои молотки, плотники и гончары снимали свои фартуки, торговцы сворачивали свой товар — присоединялись к толпе, заражались ее ненавистью, даже не успев узнать, в чем же провинился осужденный. Толпа росла и жаждала стать палачом.

Любой и каждый мог схватить камень, но должен помнить: здесь не самосуд, прежде соблюди древний обычай — выйди, сними одежду с себя, положи ее у ног обвинителя: тебе преданы, твою волю исполняем, не свою.

За городом спустившись в Тиропеонскую долину, толпа остановилась, угрожающе сбилась вокруг преступника. И перед Савлом, утопившим голову в плечах, прячущим под густыми бровями горящие глаза, стала расти куча войлочных плащей, кафтанов, хламид. Охотники готовились исполнить его волю.

Стефан умер безмолвно, даже не издав стона.

Ночью его изуродованный труп исчез.

Сейчас Савл нес себя на полусогнутых, увлекая рослых молчаливых парней. В последние дни он впал в неистовство, днем не знал покоя, метался по городу, встречался с десятками людей — нищими и увечными, торчащими возле храма, менялами и торговцами, старшинами общин, — выпрашивал, выискивал: кто, что, где, когда, — а ночью уверенно вел свой отряд, врвался... Ни слезы, ни мольбы не могли разжалобить его, самых безвинных устрасал плетью, тех, кого подозревали, тащил в подвалы крепости Антония. Глаза его запали, лишь жесткий нос угрожающе торчал на усохшем лице. Савл вызывал страх даже у товарищей.

Ныне тайные соглядатаи донесли, что казненный Стефан часто посещал одного плетельщика циновок, жившего возле Дамасских ворот. Сам старый Ганан от имени первосвященника приказал хватать всякого, кто подозревается в знакомстве с богодерзким антиохцем. Многие скрылись, немногие схвачены, но на этот раз Савл послал человека доглядывать, не уйдет ли зверь. Ничего не сообщали, значит, спешат не зря — зверь в своем логове.

Свернули в узкий тупичок, упирающийся в стену дворца Ирода, и впереди в сумраке выросла тень. Савл, еще не успев подойти к ней вплотную, выдохнул:

— Ну?..

— Здесь... — кивнула тень.

В щель из-под двери сочился слабенький свет, за дверью ни звука, ни шороха — затаились. И дверь легкая, без особого труда любой может выдавить ее плечом. Савл осторожно тронул ее, она подалась, тогда толчком распахнул, шагнул в душное жильё.

Крохотный огонек светильника мигнул, но устоял под напором ворвавшегося воздуха, два лица уставились на Савла, одно косматое, темное, изрезанное морщинами, глаза тонули в глубоких провалах, другое бледное, невнятно сглаженное, обмерше-глазастое. Старик и девочка лет шести, если не меньше.

— Ты ли хозяин дома сего? — спросил Савл старика.

— Теперь хозяин ты — и моего жалкого дома и меня... Ждал, что придешь.

У старика тихий, с одышкой голос, пропаханное лицо спокойно, а в круглых глазах девочки застывший ужас. И за спиной Савла дыхание сбившихся у распахнутых дверей ребят. Их два десятка, и они вооружены.

— Не тебя ли звать Ахая? Не плетение ли циновок твое занятие?

— Зачем лишние вопросы — я тот, за кем ты пришел.

— И ты помогал богопротивному Стефану?

У старика дрогнули морщины, он покачал косматой головой:

— Тебе лучше моего известно, что ничем я не мог помочь Стефану.

— А если б мог?

— Все бы сделал, чтоб его спасти.

Савл глядел на старика — у него были узкие плечи и впалая грудь, тонкая сморщенная шея, казалось, с трудом держит бородатую голову, и обнаженные, в дряблой коже руки до ломкости тонки. Сколь слаб и немогущен этот враг высокого синедриона.

— Мне жаль тебя, но я должен...

Старик не дал договорить, удивился:

— Тебе доступна жалость, ночной гость?

И Савл даже не смог оскорбиться.

— Ты не видишь себя,— сказал он с досадой.— Тебя пожалеет всякий.

— Меня жалеть поздно. Пожалей ее.

Старик слабым кивком указал на девочку.

В ее распахнутых глазах тлели отраженные огоньки слабенького светильника. Савл смутился, а потому спросил раздраженно:

— Ты хочешь, чтоб я взял ее себе... вместо дочери?

— Дочью человека, кого все боятся и тайно клятнут в сердце своем? Стать самой клятой? Нет! — Старик потряс космами, посидел с опущенной головой, наконец поднял запавшие глаза на Савла.— Убей ее, когда меня выведешь отсюда, и ты сделаешь доброе дело.

За спиной Савла кто-то удивленно обронил:

— Авва!

Кто-то сдавленно выругался. Старик издевался. Савл, сжав кулаки, качнулся на него.

— Я вырву твой поганый язык!

— Вырви...— согласился старик.— Но сначала открой на нее глаза — что ее ждет?.. Ее отца распяли на кресте римляне, он висел много дней на площади и гнил... Ее мать схватили солдаты и надругались, она перерезала себе горло, потому что знала: все у нас благочестивы, все станут считать ее нечистой... Гляди на нее, воин синедриона: она только начала жить, а уж тонет в крови. И ты хочешь, чтоб она жила и дальше — в крови, в злобе, в голоде, в этом страшном мире, где хорошо только тем, кто убивает и насилует? Вроде тебя, ворвавшегося ночью в чужой дом! Она похожей на тебя стать не сможет, ей лучше не жить. У меня не подымет-ся рука, а твоя рука привычна. Сделай доброе дело раз в жизни, но прежде выведи меня, чтоб я не видел...

Савл с размаху пнул старика, тот опрокинулся, а девочка с неожиданным проворством шарахнулась в темный угол, затаилась там. Она не вскрикнула, не заплакала. Савл не видел ее, лишь кожей чувствовал, как жмет-ся она в темном углу, пытается исчезнуть.

Пинок Савла был принят как команда. Парни ворвались, схватили старика, вытащили наружу. Кто-то сбил светильник, и в доме стало темно. Савл стоял в этой темноте, пытаясь сдержать дрожь в руках и коленях, и всей кожей чувствовал: рядом прячется девочка, не смеет вскрикнуть и шевельнуться. Похоже, она уже не раз

в своей коротенькой жизни вот так пряталась и все происшедшее сейчас для нее не ново.

Бросить ее здесь одну?.. Разве это не все равно что убить? Медленно станет умирать с голоду. Но, может, кто-то даст ей место в своем доме?.. Кто-то — не ты! Тебе доступна жалость?.. Доступна! Доступна! Старик лгал!.. Но тогда куда девать тебе девочку, когда нет у тебя ни дома, ни семьи, сам ночуешь где придется?.. И что скажут ребята, если увидят — Савл подобрал богопротивное отродье?.. Что скажут, что подумают, не будут ли смеяться?..

Девочка пряталась от него, а за распахнутой дверью голоса, шевеленье, зажгли факелы, ожидая его.

Савл окликнул:

— Эй, где ты?..

Молчание. Стучала кровь в голове.

— Э-эй! — громче.

Тихо. Она боится. И скорей всего она уже научилась ненавидеть. Зачем она ему?..

Он рассердился, и сразу стало легче. Резко повернулся и вышел.

Два десятка рослых парней, вооруженных палками, ножами и мечами, при свете факелов деловито, почти торжественно вели одного с трудом переставляющего ноги старика. Савл шагал позади всех, радовался, что факелы горят впереди, никто не видит в темноте его лицо.

«Лучше убить одного, чтобы спасти весь народ!» Эти слова постоянно провозглашались в синедрионе. Он, Савл, убил Стефана. Да, да, все сделал для этого: позвал толпу, привел ее к месту казни, и добровольцы-палачи к его ногам сбрасывали одежду — твою волю выполняем, не свою! Чтоб спасти народ богоизбранный, праведных детей Авраамовых, не каких-нибудь проклятых язычников, которые поклоняются идолам! Убил Стефана и был горд собой — угоден богу, сделал добро своему народу!

Стефан умер молча, не молил о пощаде. И перед грозным синедрионом — цари не смеют перечить! — бросил: «Жестоковыйные!» Он не мог не догадываться, что после таких слов в живых не останется. Синедрион не прощает обидчиков.

Не думал о себе. Так о ком же он думал? Ради чего, ради кого он готов был принять смерть?

Знал ли Стефан о девочке? О том, что не начала жить, а уже утонула в крови отца и матери... Не мог не знать, потому что был знаком со стариком. «Жестокыйные!» — кажется понятным, отчего Стефан не устрашился синедриона.

Просил ли старик Стефана: «Убей девочку, и ты сделаешь доброе дело»?.. Просить о таком можно только убийцу. Стефан не убийца — сам жертва. Убийца ты, Савл!

«Лучше убить одного, чтобы спасти весь народ!» Еще одного, что за малость, еще раз пролить лишнюю кровь, сделать кровавый мир более кровавым. Ты верил, верил: можно спасти, нужно спасти народ убийством! Звал к этому толпу. И толпа слушалась тебя, медники откладывали в сторону свои молотки, плотники и гончары бросали работу, шли, чтоб убить того, кто хотел, чтоб они не убивали друг друга, не страшась жили.

Старик сказал: «В этом страшном мире хорошо только тем, кто убивает...» Ты, Савл, стал известен в Иерусалиме, тебя боятся, тебе при встрече уступают дорогу, синедрион ценит тебя. Ганан, всемогущий Ганан, кого безропотно слушается сам первосвященник, нуждается в твоей помощи. Плохо ли тебе, Савл? Со временем ты окажешься в числе семидесяти одного, которые заседают в синедрионе.

Старика вели с зажженными факелами по пустым улочкам. Двадцать парней с решительными физиономиями. Старика бросят в подвалы крепости, он уже не вернется оттуда. Еще одна смерть, еще одно убийство. Савл шагал сзади, верный слуга, который рано или поздно станет господином. Никто не видел в темноте его лица.

А позади в пустом, темном, нищенском доме забила в угол маленькая девочка — одна перед залитым кровью миром.

Утром Савл кинулся к Дамасским воротам, в тупичок, упирающийся в городскую стену. Он по-прежнему не знал, что делать с девочкой, куда ее пристроить, сможет ли заменить ей отца или старшего брата. Но знал: если не отыщет, не возьмет к себе, то каждый день его будет начинаться с мысли — бросил!.. Не смей радо-

ваться, что живешь на свете, не смей напоминать о себе богу! И в конце концов проклянешь себя. Не девочку бежал спасать Савл — себя самого!

При свете дня дом старика был так же дряхл, как и его хозяин, — неровные выпирающие камни, обмазанные рыжей глиной, дверь распахнута, внутри пусто, просиженные циновки, куча тряпья в углу, глиняный светильник, опрокинутый ночью, на полу. Савл бросился к соседям. Должны же они знать, где девочка!..

Соседи прятали глаза, отвечали неохотно:

— Не знаем. Ничего не видели.

Он упрашивал, он молил..

— Не видели. Откуда нам знать.

Робеющие лица, опущенные глаза, неискренние голоса. Знают, что перед ними тот, кто вчера в ночь ворвался в этот нищенский дом. Знают и о том, что это он, Савл, казнил Стефана, который здесь часто бывал, говорил им свои проповеди.

Люди старательно прятали глаза, но Савлу и не нужно было в них заглядывать, чтоб понять, что они о нем думают: «Мало тебе расправиться со Стефаном, мало схватить едва живого старика, тебе нужен еще и безвинный ребенок». Савл содрогнулся от потайной к себе ненависти, не посмел дальше расспрашивать.

А хочешь не хочешь — надо жить. В последнее же время его жизнь заполнена одним — вслушивайся, вглядывайся, выискивай врагов синедриона, хватай их. От тебя ждут только этого и ничего другого. Ждет могущественное вельможное семейство Гананов вместе с первосвященником Иосифом Каиафой, ждут старосты общин, ждут товарищи по ночным вылазкам, признающие тебя старшим, ждут начатые и незаконченные дела, и на сегодняшний вечер намечены уже новые жертвы.

Отказаться? Спросят — почему? Тверд ли сам в вере?.. Синедрион отступников не жалуется.

В полдень Савлу сообщили — его требует к себе не кто-нибудь, а сам Ганан.

Он усох и сморщился от многолетних высоких забот — беззубый рот под костлявым носом, слезящиеся глазки, затейливая вязь бескровных морщинок, темные немощные старческие руки. После Ирода Великого в Иу-

дее не было более могущественного человека. Он верно служил Риму и заставлял служить себе Рим. Он ставил первосвященников и снимал их. Он мог вызвать на суд царствующих тетрархов и заставить их вымаливать прощение. Он даже пытался влиять на судьбы мира, ибо евреи всюду, а где евреи, там должна ощущаться и власть Ганана.

Савл почтительно стоял перед ним, а тот ощупывал слезящимися глазами его приземистую нахохленную фигуру.

— Богу угодно твое усердие, — произнес Ганан дребезжащим голосом.

Не раз Савл слышал эту милостивую фразу, но впервые ей удивился — говорят за бога, убеждены, что богу желательно именно то, что им самим.

Ганан, однако, никогда не был слишком щедр на похвалу, сразу же перешел к делу:

— Нам принесли весть из Дамаска. Там община ждет помощи — кой-кто утратил крепость веры. Отправляйся туда и покажи, как надо защищать благочестие. Действуй решительно, но не спеши, присмотрись, не открывай сразу себя. Сперва подбери себе верных людей. И моего имени не упоминай. Действуй, а уж мы не забудем твои заслуги перед богом.

Дамаск для Ганана дверь на восток — в Сирию, в Каппадокию, в Азию, — а потому возле этих дверей должны находиться верные ему слуги. В Дамаске у Ганана жили тайные соглядатаи, и часто ходили туда столь же тайные посланцы. Савл должен стать одним из них, из тайных.

Сейчас ему трудно в Иерусалиме. Савл ни на минуту не забывает об исчезнувшей девочке, еще вчера верил: все, что ни сделает, во благо; теперь веры нет. Врываться по ночам в чужие дома, видеть испуганные бледные лица, грозить, хватать, заламывать руки — богу угодно твое усердие! Чем могла прогневить всевышнего девочка? Нет опоры, на что ни оглянись, — все шатко... Ганан заставляет исчезнуть из Иерусалима, забыть на время — хотя бы на время! — то, чем занимался...

И впервые с прошлого вечера Савл облегченно выдохнул:

— Когда отправляться, господин?

— Завтра. На рассвете.

Да благословенно на этот раз нетерпение сильных

мира сего, он исполнит приказ Ганана — оставит Иерусалим как можно раньше, еще до рассвета.

До Дамаска восемь дней пути. В одиночку не ходили — по дороге грабили, особенно в Самарии. Веками презирали евреи самаритян — та же вера, но не тот народ, дальше от бога, нечисты, грешно даже с ними заговаривать. Самаритяне мстили евреям при случае. В глухой час, в глухом углу лучше с ними не встречаться.

Путники первые дни держались двух римских солдат, направлявшихся в Кесарию. Да, они чужой веры, да, молятся идолам, но презрения к ним не покажешь, сами смотрят на иудеев свысока — скандальное племя. Рим — хозяин вселенной, даже благочестивые евреи желали называться римлянами, конечно, не отказываясь при этом от своей веры.

Дед Савла еще при Помпее получил звание римского гражданина — чем услужил, за сколько купил, этого уже узнать теперь нельзя. Но и отец и сам Савл носили такое звание. Потому-то солдаты сразу отличили Савла от других путников, вступали в беседу, называли его на латинский лад Павлом. Павлом он стал и для остальных... Выйдя за стены Иерусалима, он получил новое имя, которое потом понесет история.

Миновали одно селение за другим, чаще стесненные горами, реже рассыпанные по каменистым долинам. Жители ковырялись в виноградниках, мотыжили черствую землю, в тесных дворах гоняли по кругу ослов, обмолачивали полбу, рыжий кизячный дымок путался в ветвях старых смокв. Что еще надо людям — добывай пищу на день свой грядущий, дорожи покоем соседа, и он не нарушит твой покой. Как проста вообще-то жизнь!

И нет, нет покоя на земле обетованной! Тот, кто копается в винограднике, гоняет осла по сжатому хлебу, не знает, будет ли он пить свое вино, есть хлеба досыта. Мытари сторожат его — отдай римскому кесарю, отдай тетрарху, отдай первосвященнику! Сильный рвет кусок у слабого. Плач и угрозы, стоны и проклятья — не могут поделить люди то, что отпущено им богом. Не могут поделить даже самого бога единого, всяк его видит по-своему, считает себя перед ним чище других, славит законы, данные богом, и бесстыдно нарушает их. Толь-

ко одному закону усердно подчиняются все: око за око, зуб за зуб!

Савл, ставший Павлом, шагал по Израилю, жадно глядел на все вокруг и ни на минуту не забывал об исчезнувшей девочке. Она, обреченная, научила его страдать. Не за себя, за других, не сознающих, что каждый сирота в мире сем, каждый нуждается в защите и помощи. Страдание вызывали даже жалкие самаритяне, встречающиеся на пути. Се тоже люди и еще большие сироты, чем он сам, — разве им не нужны защита и помощь?..

Один ли он сострадает и хочет помочь? Сколько пророков ходит по земле, любого встречают с надеждой, любой щедр на обещания, но ни одно пока не сбылось.

А нужно ли обещать? Не лучше ли сказать: не ждите от других, сами давайте чем богаты. Если есть у тебя кусок хлеба, преломи его с тем, кто голоден. Если нет хлеба, голоден сам, найди доброе слово для такого же голодного. И тогда не око за око, не зуб за зуб, а благодарность за благодарность, спасение за спасение — кто тогда почувствует себя сиротой?..

Все люди станут одной семьей, не о том ли говорил пророк Михей: «И перекуют они мечи свои на орала и копыя свои — на серпы; не поднимет народ на народ меча и не будет учиться воевать, но каждый будет сидеть под своею виноградною лозою и под своею смоковницею, и никто не будет утращать их...»

После Самарии шли по Галилее, здесь не столь суровы скалы, не так испечена земля, зелень ярче и народ поприветливее. Казалось Павлу: мир улыбается тому светлому, что росло внутри его.

Берегов моря Галилейского они лишь коснулись, пройдя кусок пути по прибрежным селениям. Капернаум остался в стороне, Вифсаида тоже. Павел не знал, что в этой сторонней Вифсаиде несколько лет назад побили камнями захожего пророка по имени Иисус, называвшего себя Сыном Человеческим. Лишь жалкая кучка рыбаков вспоминает теперь о нем, да в Назарете все еще живет его мать, живут его братья и сестры. И куда-то исчезла Мария из Магдалы, вылеченная им от бесноватости.

Через три дня, «пройдя Итурию, Павел вступил на большую Дамасскую долину»...

Об этом событии позднее будет рассказывать и сам Павел и многие, многие — в разное время, трактуя на свой лад. В XIX веке его попытается реалистически представить Эрнест Ренан, известный французский писатель и выдающийся сеитолог. Вот его описание:

«...Павел вступил на большую Дамасскую долину. Он подошел к городу и находился, должно быть, уже около окружающих город садов. Был полдень. С Павлом было несколько товарищей, и он, по всей вероятности, шел пешком.

Долина эта принадлежит к плодороднейшим и живописнейшим местностям земного шара, и с самых древних времен и донныне она называется «Раем Господним»... По всей вероятности, глаза его были воспалены, может быть, началась офтальмия. При подобной продолжительной ходьбе последние часы самые опасные. Нервное напряжение проходит, начинается реакция. Может быть, что внезапный переход из палящей пустыни в прохладную тень садов вызвал удар в болезненном и сильно потрясенном организме. В этих местностях человеком внезапно овладевает опасная лихорадка, сопровождающаяся приливом крови к голове. В несколько мгновений человек как бы поражается молнией. После того как проходит припадок, остается впечатление темной, прорезываемой молнией ночи, на черном фоне которой являются какие-то смутные картины. (Подобный припадок был со мной в Библосе; будь у меня другие взгляды, я принял бы бывшую тогда у меня галлюцинацию за чудесные явления.)

Несомненно, что страшный удар лишил Павла в одно мгновение сознания...

Вероятно, что внезапно разразилась буря на отрогах Гермона, центре скопления электричества, с силой которого ничто не может сравниться. Не нужно также забывать того, что в древности подобные явления считались божественными откровениями, что они согласно тогдашним представлениям о судьбе не заключали в себе ничего случайного, что каждый имел обыкновение рассматривать все происходившие вокруг него явления природы по отношению к самому себе. В особенности у евреев гром всегда считался гласом божьим, молния огнем божьим. Павел находился в необычайном волнении. Естественно, что он услышал в голосе грозы то, что именно волновало его. Овладело ли им внезапное помра-

чение рассудка, вызванное солнечным ударом или офтальмией, или ослепила его на довольно продолжительное время молния, или молния и гром повергли его на землю и вызвали потрясение мозга — все это имеет мало значения. Воспоминания самого апостола, по-видимому, довольно смутны, он был убежден, что имело место сверхъестественное явление... При подобных потрясениях человек иногда совершенно теряет представление о моментах кризиса...»

Эрнест Ренан следовал реальной истории, его Павел знал об Иисусе Христе, был гонителем христианства, а потому и галлюцинации, вызванные шоковым состоянием, связаны у него с Христом:

«Он увидел образ, преследовавший его уже несколько дней, он увидел призрак, о котором носилось столько рассказов, он увидел самого Иисуса, который говорил ему: «Савл! Савл! Что ты гонишь меня?»...»

Наш Павел находится в истории, где совершилось событие в Вифсаиде. Нашему Павлу не мог явиться Христос со скорбным упреком. Удар перед Дамаском он мог воспринять лишь как грозное божье остережение — не смей жить, как жил, творить, что творил, вступай на новый путь, который тебе открылся.

Событие в Вифсаиде убрало из истории Христа. Но история сразу же предложила готового подвижника.

Машина выбрала наиболее вероятного. И мы без лишних эмоций приняли его и вплотную занялись Павлом.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

1

Последователи, как правило, разительно не похожи на зачинателей. Павел громко славит Христа и постоянно противоречит ему.

Христос не ценит достоинства ума в человеке, напротив, считает — «блаженны нищие духом», им, бездуховным, легче уверовать в бога, а потому увещевает: «Будьте как дети». Неистовый глашатай Христа Павел взывает к иному: «Братия! Не будьте дети умом: на злое будьте младенцы, а по уму будьте совершеннолетни». Он

убежден, что божеское постигается, «соображая духовное с духовным». Соображая! Не бездумная доверчивость, а наличие ума — вот достоинство человека, по Павлу.

Христос беспечно наставляет: «Посмотрите на полевые лилии, как они растут: не трудятся, не прядут... Итак, не заботьтесь и не говорите: «что нам есть?» или: «что пить?» или «во что одеться?»... Ищите прежде Царства Божия и правды Его, и это все приложится вам». А Павел и помыслить не может, что «все приложится» само собой, он настойчиво призывает трудиться, именно ему приписываются знаменитые слова: кто не трудится, тот не ест! И он, Павел, уже озабочен распределением продуктов труда. «Ибо в Моисеевом законе написано, — напоминает он, — «не заграждай рта у вола молотящего». О волах ли печется Бог? Или, конечно, для нас говорится? Так для нас это написано; ибо, кто пашет, должен пахать с надеждою, и кто молотит, должен молотить с надеждою получить ожидаемое».

Христа в веках умиленно почитали спасителем в сего человечества, а он был из иудейских пророков, для кого евреи — дети, все остальные псы... И только Павел дерзко ломает тесные национальные рамки, вызываясь бросает миру: «Я должен эллинам и варварам, мудрецам и невеждам... Неужели Бог есть Бог иудеев только, а не язычников? Конечно, и язычников». Пожалуй, его можно считать первым интернационалистом в мировой истории.

Наконец, и в самом главном, в основе основ учения — в любви к ближнему, — Павел вовсе не такой уж покорный последователь Христа. Он не повторяет безрассудного: «Любите врагов ваших». «Если враг твой голоден, — говорит он, — накорми его; если жаждет, напои его: ибо, делая сие, ты соберешь ему на голову горящие уголья». От «люби врага» такая позиция — «горящие уголья на голову» — далека, враг для Павла остается врагом.

Как любить и что, собственно, такое любовь? — для Христа нелепа сама постановка вопроса. Просто люби и не рассуждай лишку, так указано господом богом.

Для Павла же любовь здраво осознанная — необходимость, нуждающаяся в точном объяснении. И он объясняет: «Ибо заповеди: «не прелюбодействуй», «не

убий», «не кради», «не лжесвидетельствуй», «не пожелай чужого» и все другие заключаются в сем слове: «люби ближнего твоего, как самого себя»...» Выходит, что любовь не божественное наитие, а всего-навсего исполнение моральных законов.

Пожар христианства уже вспыхнул, а этот недюжинный человек еще не успел сформироваться. И пламя было слишком велико, слишком много людей уже грелось возле него, бессмысленно разжигать рядом новый костер, пришлось стать раздувающим. Павел раздувал, но при этом подкидывал свои дрова.

В нашей модели Христа нет, Павлу предоставлена самостоятельность. Можно ли сомневаться, что павлианство окажется столь же отличающимся от привычного христианства, как сам Павел отличен от Иисуса Христа? Говоря словами Миши Дедушки, «это вам не бабочка Брэдбери».

Какие сюрпризы ждут нас?..

2

Но у дерзновенного Павла был враг, с каким часто сталкиваются недюжинные люди, — он сам! Павел отрицал Павла, да так, что вызывал полное недоумение — изумляться ему или негодовать, оправдывать его или отвергать? Возникало даже сомнение: а существовала ли эта историческая фигура, не перепутались ли под одним именем в течение веков противоречащие друг другу взгляды и мнения?

Для того чтоб как-то выяснить, мы решили устроить судилище. Прокурорские обязанности взял на себя Толя Зыбков. Адвокатом мог стать каждый...

Мы, как истые террористы, хранили в тайне свой заговор. Мне не нужно было предупреждать своих флибустьеров о молчании, каждый понимал, что если наша затея вырвется наружу, сразу обрушатся досадные осложнения: полезут любопытные, пойдут досужие разговоры, и я окажусь в двусмысленном положении — почтенный физик-теоретик стал подозрительным теологом! Помимо нас о криминальной вылазке в глубину истории знали лишь в вычислительном центре те самые доброжелательные жрецы и пифии, которые обкатывали на нашей программе своего нового электронного ора-

кула. Но они-то никак не были связаны с нашим окружением, с их стороны разоблачение не грозило.

И все-таки к нам проник один посторонний, виной тому стал Миша Дедушка.

Перед началом назначенного судилища он явился ко мне горделивый до заносчивости, отутюженный до умопомрачения — белоснежные полоски манжет из рукавов, бордовый с прожилками галстук, значок мастера спорта на лацкане, цветной кончик платочка из нагрудного кармашка и обихоженная борода, распространяющая благоухание, и петушиная осаночка.

— Георгий Петрович, хочу представить... — Обернувшись к распахнутой двери, провозгласил: — Прошу, Настя!..

Она вплыла несмело, бочком, с беззащитной улыбочкой: ломко-долговязая, пунцовеющее личико маячит над тщательно расчесанной макушкой Миши, с высоты стынют обморочно-голубые, кукольно-наивные, обильно реснитчатые глаза.

— Знакомьтесь... — выдохнул Миша. — И предупреждаю: меня хватит паралич, ежели вы друг другу не понравитесь.

Я бережно подержал тепленькую ладошку Насти:

— Смирение паче гордости, Миша. Тебе никак не грозит паралич.

— Георгий Петрович, я, верный пес, свирепо охранял от посторонних наш высокий ареопаг. Георгий Петрович, за преданность прошу награды...

— Проси!

— Разрешите ей время от времени находиться среди нас.

Ну мог ли я отказать?

И Настя, примостившись рядом с Мишей на подоконнике, стала представлять в своем лице публику...

Толя Зыбков деловито нахохлен, на коленях раскрытый блокнот — для торжественности, не для памяти. Память у парня отменная, нужные цитаты безошибочно выдает наизусть, и голос его на сей раз без насмешки, щекастое лицо насуплено.

— Я утверждаю: Павел постоянно предавал самого себя. И доказать это большого труда не составляет...

Я рисую ромашки и бакенбардисто-усатые физиономии, Ирина дымит сигаретой, прицельно шурится сквозь дым на неподкупного Толю, Миша Дедушка, плечо в

плечо с замороженной Настей, в картинном внимании задрал тугую бородку.

А Толя не торопясь стравливает Павла с Павлом:

— В «Послании к Римлянам», глава двенадцатая, брошен призыв: «И не сообразуйтесь с веком сим!» С одним из самых, можно сказать, безобразных веков в истории, породившем чудовищ вроде Калигулы и Нерона. «Не сообразуйтесь!» — вполне достойный новатора призыв...

Толя опускает глаза к непорочно чистой странице блокнота, давая нам возможность проникнуться значительностью сообщения.

— После такого призыва, наверное, следует ждать совета — как же изменить несообразный век? И совет Павел дает в том же «Послании к Римлянам»: «Каждый оставайся в том звании, в котором призван...» То есть раб оставайся рабом, а господин господином. «Не сообразуйтесь с веком сим», стремитесь к иному, но пусть остается все как было, не нужно ничего менять. Странное совмещение несовместимого!

И не выдерживает Ирина:

— Да он же хотел изменить не социальное устройство, а нравы. Только нравы, голубчик!

Я рисую гусара с усами и кожей чувствую: Толя Зыбков собирается для выпада. Говорит он противным постно-назидательным тоном:

— Нельзя изменить нравы, Ирина Михайловна, не меняя социального устройства.

Искушенный бретер делает ложный финт, и отважно-прямолинейная Ирина попадает на него.

— Это тебе, умный мальчик, известно и мне, — раздражается она, — а Павел не изучал марксизма, он-то ведь искренне считал — можно нравы изменить, так сказать, напрямую.

И Толя с ленцой, медлительно тянется к блокнотику, перелистнул его с чистой странички на чистую, заговорил с явным наслаждением:

— А вот в «Первом послании к Коринфянам», глава пятнадцатая, Павел провозглашает: «Не обманывайтесь: худые сообщества развращают добрые нравы». Не правда ли, знаменательные слова? Даже для нас с вами, Ирина Михайловна... Нет, он не хуже нас, просвещенных, понимал, что нравы зависят от сообществ. Знал это и... «Каждый оставайся в том звании, в котором призван».

— Гм... Черт возьми!

Математик Ирина Сушко слабо сведуща в Новом завете, сообщение Толи для нее — ошеломляющее открытие. А Толя не снисходит до торжества, двигается дальше уже победным маршем, без выжидательных остановок:

— Павел отстаивает: «Люби ближнего твоего, как самого себя». Отстаивает не только страстно, но и бесстрашно. В раболепстве его никак не обвинишь. И тем не менее усиленно внушает: «Благословляйте гонителей ваших; благословляйте, не проклиняйте». Имеете право, Ирина Михайловна, заметить — гонители для него не имели, мол, классовой подоплеки, просто дурные люди, заблудшие души. Увы, Павел тут не оставляет двусмысленности, объясняет без околичностей: «Всякая душа да будет покорна высшим властям». Гонителями-то высшие власти оказываются. Павел признает это, но объясняет: «Ибо начальник есть Божий слуга, тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч... И потому надобно повиноваться не только из страха наказания, но и по совести». Каковы наставленьица, Ирина Михайловна? А между прочим, в другом месте Павел настойчиво утверждает, что вовсе не проповедует мудрость «властей века сего предержавших». Вот и гадай, чему из того, что говорил, он сам верил, чему нет...

— Верил и в то и в другое — гениальный путаник! — авторитетно объявляет от окна Миша Дедушка.

Ирина с досадой морщится:

— Сказал — что рублем одарил.

— Скажи иначе. — Миша петушино-воинствен при Насте, однако с остросточкой: Ирина может и припечатать. — Он бесстрашен, с этим ты согласна?

— Положим.

— И бесчестным его тоже не назовешь. Остается одно — путаник! Если не гениальный, то уж наверняка дерзкий, чего не отымешь, того не отымешь. — Миша торжественно повел бородой в мою сторону: оцените, каков я, Георгий Петрович.

Я не отозвался, в эту минуту я, право, знал не больше него.

Заговорила Ирина:

— А кто был тогда не путаник, позволь тебя спросить?

Просвещенный Сенека красиво откровенничал о справедливости, а служил Нерону. Тот же Христос убеждал: «Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие», но призывал — отдай кесарю кесарево. Тоже ведь не очень-то логично с нашей точки зрения.

— Не забывайте, Ирина Михайловна, — вежливо вмешался Толя Зыбков. — Христос проповедовал «люби врага своего». С такой позиции «кесарево кесарю» вполне оправдано — купи себе независимость, но не враждуй. А Павел-то, как мы знаем, «люби врага» боком обходил — насыпь врагу горячие уголья на голову и покорись сильнейшему, тому, кто с мечом. От недомыслия это? Путаник?.. Сомневаюсь!..

Все взгляды повернулись ко мне — слово за судьей! Но я лишь утвердился сейчас в одном: суд наш преждевременен, предварительное следствие не закончено, возможно, даже и обвинение предъявлено не по адресу.

— Скорей всего это загадка не Павла, — сказал я.

— А чья же? — насторожился Толя.

— Его времени.

— Время нелогично?

— Нелогичными могут быть люди, но не время.

— Так что, что тогда?..

— Нам ничего другого не остается, как дальше копать вокруг Павла.

Неудовлетворенное молчание. Еще бы, я, похоже, и сам скис от своих ответов.

И вдруг раздалось мелодичное сопрано:

— Можно мне спросить?

Мы не сразу сообразили, что обрела дар речи новоявленная подруга Миши Дедушки. До сих пор Настя прилежно слушала, прилежно молчала, даже неведомо было, какой по звуку ее голос. Оказывается — ангельский. Она по-школьному поднимала вверх розовую ладошку, доверчиво глядела на меня кукольно-рисованными глазами.

— А зачем нужно судить человека, который так давно умер? Не все ли равно нам, как он там вел себя?

Миша Дедушка нацелился на Толю Зыбкова взглядом заклинателя змей — только попробуй сострить! А я озадаченно почесывал лысину — вопросик-то хотя и девичий, но не простой. И я ответил как мог:

— Мы выросли из него, Настя.

Настя на минуту задумалась с голубым недоумением во взоре, но тут же счастливо озарилась:

— Ага! Мы должны знать Павла, чтоб не походить на него в своих поступках.

Толя Зыбков честно выдержал, не издал ни звука, зато сам Миша негромко крякнул.

Я же счел нужным согласиться:

— Почти угадала.

3

Рассеянно молчавшая Ирина Сушко негромко произнесла:

— Устами младенца глаголет истина... Признаться честно, я тоже смутно представляю себе, чего мы хотим от Павла.

Миша Дедушка удивился:

— Эва, опять двадцать пять! Сколько раз мы это колесо крутили — роль личности в истории.

— Буксует наше колесо, друг бесценный, не двигаемся с места.

— Гоняла, гоняла машину — и ни с места! — У Миши даже скулы над бородой возмущенно порозовели. — А не кажется ли, что сейчас, в эту вот невдохновенную минуту оглядываемся на пройденный путь и — эхма! — признать вынуждены, что для госпожи истории незаменимых личностей нет.

Ирина презрительно фыркнула:

— Вот именно, доехали до открытия. Стоило ради него машину насиловать, легко можно было самим соорудить.

— А что ты ждала? Жар-птицу красоты невиданной? Истина-то, мамочка, в скромных перьях, оказывается.

— Ждала, мудрый Дед. А наткнулись на старого знакомого — традиционного путаника, который заветных секретов, не жди, не откроет. Мне цель нужна!

У Толи Зыбкова появилось на физиономии просто-душно-дураковатое выражение.

— Позвали девочку в лес за лисичками... — начал он мечтательным голосом.

Ирина свела грозные брови, перебила:

— Давай без паясничанья, сурочек. О самом важном говорим.

Толя скорбно вздохнул:

— Не надо плакать, Ирина Михайловна, лисички рядом, лисички всюду, только они не на четырех ногах и не с хвостами. Мы добытчики знаний, Ирина Михайловна! Значит, знания и есть наша цель!

— Нет, яблочко наливное, знания не цель, как и кирпич еще не дом. Могу я поинтересоваться: для чего пригодятся те знания, которые мы добудем?

— Кто мог сказать Герцу — для чего пригодятся его электромагнитные волны? Дело Герца и нас с вами — поймать новые знания, выпустить их в мир: летите, голуби! А уж кто и когда голубей приручит, к чему приспособит — не наша забота.

Головастый румяный мальчик, пожалуй, один из лучших представителей современного поколения духовных акселератов. Такие мальчики родились тогда, когда их папы и мамы со вздохом вспоминали войну: «Тяжелое было время». Было да прошло, мальчикам не пришлось мерзнуть в окопах, ползать на брюхе под пулями, видеть трупы, есть лепешки из гнилого картофеля. Они всегда спали на чистых простынях, ели досыта, не знали, что такое заплаты на штанах, а потому снисходительно презирают грубый утилитаризм. Вот абстрактные знания — другое дело, увлекательное занятие вылавливать их, любоваться ими, а потом отбрасывать — авось подберут, приспособят. Мир для этих мальчиков вроде кроссворда — загадка пересекается с загадкой, любопытно, стоит поломать голову. Такое любопытство доступно только особо подготовленным, только избранным — аристократам духа. Людям нужен хлеб насущный, людям нужна нравственность — да, да, конечно! Готовы признать, но не способны поверить, что когда-нибудь не станет обиженных и униженных, обманщиков и корыстолюбцев, — противоречия неистребимы, рай земной такая же наивная выдумка для простаков, как и рай небесный. Раздираемый страстями мир весьма ненадежен, но тем более торопись насладиться им. Нет, такие мальчики не собираются усладить свою плоть, для многих из них действительно, кроме «свежевымытой сорочки», ничего не надо, аристократы духа жаждут истины. Самой разнообразной, касающейся нейтрино или квазаров, формы ДНК или наличия биополя, — изош-

ренными приемами добыть ее, потешиться и выпустить: летите, голуби! Вдуматься — странный интеллектуальный снобизм... Он коробит не только меня, Ирина внимательно разглядывает Толю матовыми, не пускающими в себя глазами.

— Не клевети на Герца, сурочек,— заговорила она.— Герц в отличие от тебя наверняка таил в душе святую корысть: мол, открою неизвестное явление, узнаю получше мир, значит, если не я сам, то дети и внуки сумеют получше в нем устроиться.

— А так ли уж наверняка, Ирина Михайловна, достопочтенный Герц держал про себя этот расчетец? — усомнился Толя.

— Достопочтенный Герц жил в то время, когда никто не сомневался, что всякое знание людям во благо. Достопочтенному Герцу и в голову не могло прийти, что когда-нибудь научные знания через водородные бомбы и прочих технических монстров станут глобальной угрозой. Да и сейчас, деточка, далеко не все освободились от святой корысти, лелеют надежду через новые знания принести пользу, а не вред. Только мой электронный олух, с которым я роман кручу, корыстного расчетца в душе не держит по той причине, что души-то у него нет. Стала бы я ковыряться в жизни Павла, покрытой вековой пылью, если б не рассчитывала что-то выковырять для нашей нынешней жизни. Хочу, хочу что-то внести в нее, что-то поправить. Не сомневаюсь, Георгий Петрович того же хочет.

На широком простецком лице Толи гуляла ироническая улыбочка.

— Хотеть-то и я хочу. Кто не хочет...— Проникновенным голосом, примиряюще: — Только как мое, так и ваше, Ирина Михайловна, хотение, признайтесь, дешево стоит. Оно равноценно мечтанию: эх если бы да кабы... Я же не поэтом стремлюсь быть — ученым, для меня, простите, беспредметные мечтания неприемлемы.

Тут не выдержал я:

— Без мечты, голубчик, невозможна никакая деятельность, в том числе и научная. Мечта — освободиться от изнурительного труда, мечта — летать по воздуху, мечта — добраться до Луны... Каждой научной победе предшествовало исступленное мечтание. Ты собираешься подавить в себе эту способность —

чего же от тебя тогда ждать, каких свершений?

Толя распрямылся, его рыхлое тело обрело упругость, а щекастое лицо достоинство, на чистое чело набежала морщинка.

— Георгий Петрович, — произнес он почти сурово, — вы не хуже меня знаете, что на крыльях мечты можно залететь черт-те куда. Мечтать умеют все, а вот в узде держать мечту, как ею править — не каждому-то дано. Вы в этом нас куда опытнее, научите.

— Могу посоветовать: правь туда, куда зовет мечта. Вот только дорогу, дружок, выбирай уж сам. Прямые дороги к цели бывают крайне редко.

— К цели? — воспрянул Толя. — К какой? Вы же слышали, как Ирина Михайловна убивалась: в тупичок уперлись, нет цели! А она мечтала о большой да светлой, за какую жизнь отдать не жалко. Увяли у мечты крылья. Как быть?..

— Так-таки и увяли?.. — Я повернулся к Ирине. — Ты в тупичке щель не заметила. Если ее расширить, чую я — на большие просторы выйти можно.

Ирина уставилась на меня провально темными глазами.

— Вспомни — Павел обронил: «Дурные сообщества развращают добрые нравы».

— Ну и что? — осторожно спросила Ирина.

— А то, что уже тогда мелькала мысль, которая противоречит религиозному пониманию нравственности.

В провальных глазах Ирины недоуменный мрак. Миша Дедушка целится на меня задранной бородкой. А Толя Зыбков, проскрипев креслицем, подался вперед, морщинка на лбу стала глубже — похоже, он уже учуял запах дичи.

— Начиная с Христа до сего дня, — продолжал я, — живет убеждение: быть или не быть тебе нравственным человеком, целиком зависит от тебя самого, от твоей воли, от твоего желания. Поступай так, как требуют догматы веры, — и добро восторжествует над злом. Религиозных наставников не интересовало, в каких условиях находится человек...

— А ведь верно! — удивился Толя. — Павел уловил нешуточное: нравы зависят не от воли отдельных лиц — от того, в каких общественных устройствах эти лица находятся. Диалектик две тысячи лет назад!

— Уловил, но, как часто бывает, не придал этому значения.

— И до Павла бродило, Георгий Петрович. Евреи, например, пытались же создать сообщества, которые не развращали бы добрые нравы.

— Пытались до Павла и многие после Павла.

— И?..— колыхнулся Толя.

— Что-то мешало им.

— Что-то не зависящее от самих людей? — сколовшимся голосом спросил Толя.

И все усталились на меня. С минуту стояла тишина. Я выдержал ее и произнес:

— Вот на это-то и хотелось бы получить ответ.

— Нич-чего себе задачка! — вышла из недоуменного столбнячка Ирина.

— Во всяком случае, не тупик, как казалось тебе, — напомнил я.

И Миша Дедушка возликовал:

— Долой нытиков и маловеров! «Наш паровоз, вперед лети!..»

— Люблю бодрящие лозунги, — ухмыльнулся Толя.

— А можно еще вопросик? — Снова по-школьному розовая ладошка вверх. — Ну никак не могу понять — этот Павел.. он вредный для нас сейчас или полезный?

— Нас-тя! — опасно выдохнул Миша.

— Но интересно же!..

— Интересно, — согласился я. — Вот мы и разбираемся.

— И еще не разобрались?

— Пока нет. И сегодня навряд ли...

Я поднялся.

— Так что ж, до следующей встречи, друзья.

Все зашевелились, подымаясь, а Настя взирала на меня изумленно и озабоченно, и в ее распахнутых глазах явно зрел новый сокрушительный вопрос. Но Миша Дедушка постарался заглушить его в самом зародыше:

— Я тебе потом все объясню. Все!

И Толя Зыбков не удержался:

— Даже все! Хотел бы я это послушать.

Что-то случилось у Ивана Трофимовича Голенкова. Утром раздался от него телефонный звонок:

— Самоедством занимаюсь, мой друг, небо с овчинку кажется. Выбери свободный часок, заскочи утолить мои печали. Очень тебя прошу.

Старик никогда еще не обращался ко мне с просьбами. Я быстро оделся и поехал.

Встретил он меня с чопорной торжественностью, даже принарядился — громоздкий костюм упрятан в просторный порывевший пиджак, морщинистую шею облегает жестко накрахмаленный воротник сорочки, и галстук по моде сороковых годов — узел в кулак, а в пропаханных складках землистого лица смущение.

— Старый ворон в одиночку с ума помаленьку сходит. Сядем-ка рядком, поговорим ладком. Не осуди, ежели мое карканье тебе непутевым покажется.

Иван Трофимович сам выглядел сейчас гостем в своей голой, неудобной комнате с узкой железной койкой, над которой висело несколько больших фотографий — делегаты каких-то давным-давно состоявшихся конференций, лежащие на земле, сидящие тесно на скамьях, стоящие в несколько рядов друг над другом. Ивана Трофимовича отыскать среди них теперь невозможно — фотографии безнадежно выцвели, хозяин на них молод, совсем не схож с нынешним. Мослаковатые руки на острых коленях, клочковатые брови над твердым носом, взгляд в пол, сипящее натужное дыхание.

— Добрые люди в смущение ввели, покою нет...

Выдавленное признание и тягостная пауза. Самое неразумное подгонять старика вопросами, ему нужно раскачаться, взять разгон, а уж тогда выложит все — затем и позвал.

— Подвернулся тут один молодец... Да-а... Приятель зятя, из молодых, да ранних. Как их зовут, которые костями умерших животных занимаются?

— Палеонтологи?

— Во-во! Он тут, так сказать, от имени науки заявленьице преподнес, коротенькое, в два слова. Никто и внимания на него не обратил, а меня ошпарило. Да-а...

Снова тягучая пауза, крупная голова нависла над полом, седина на ней желта, как старая слоновая кость.

— И что же он сказал такого? — спросил я.

— Направленная эволюция!

Я озадаченно молчал.

— Наука-де утверждает — существует направленная эволюция! Ты об этом слышал?

— Да. Но почему должно волновать такое, Иван Трофимович?

— Тебя ничуть не волнует?

— Нисколько.

Старик крикнул.

— Эх! А что такое эволюция? Жизни развитие, не так ли?

— В общем, так.

— Выходит, жизнь-то не сама по себе вольной речкой течет — направлена. Кем направлена? Сверху, богом?.. А ты знаешь, что бога я и от себя и от людей в шею гнал?

Из кустистых бровей в упор — зрачки, плавающие в голубой старческой влаге. Я не удержался от улыбки.

— Смешно?.. Что ж, смейся, но только объясни: неужели наука к богу повернулась?..

— Представь себе,— начал я осторожно,— что с горы сорвался камень, катится вниз. И не просто катится, а направление имеет, которое даже вычислить можно: мол, по такому-то месту проскачет, раздавит, если не построишься. Кем задано это направление? Неужели же богом? Да нет, силой земного притяжения, профилем самой горы, случайными препятствиями, быть может...

— Гм, верно... Тут бог ни при чем. Но жизнь, дружок, не камешек. Откуда она образовалась, почему так хитро плетется — от мокрицы какой-нибудь к мающемуся человеку Голенкову Ивану?.. Откуда и зачем, Георгий? Твоя наука может сказать?

— Увы, нет.

— Пока нет или даже не надеетесь и узнать?

— Надеемся, Иван Трофимович. И пока мы живы — будем надеяться.

— А если надежды не исполнятся? Или такого даже не допускаете?

— Допускаем. Не исключено.

— Тэ-эк! — дрогнув отекшими складками лица, протянул Иван Трофимович, словно уличал меня в преступлении.— Уж коль допускаете, что может быть непостижимое, чего никому знать не дано, то самое начальное, самое недоступное — бог, творец всего, и вовсе уму людскому непосилен!

— Да бог ли тебя волнует, Иван Трофимович? Сдается мне — что-то другое.

— Волнует меня, голубь, все тот же Иван Голен-

ков, топтавший землю восемь десятков лет и много на ней наследивший. Ошибка я или не ошибка бога?

— Ошибок природа не терпит — выбраковывает, — сказал я. — А тебе она разрешила полный срок прожить, значит, за ошибку не посчитала.

Старик замолчал, разглядывал свои узловатые руки на коленях, хмурился, соображал про себя, наконец невесело усмехнулся:

— Когда-то, сказывают, ящеры нелепые на свете жили, природа их похерила: мол, ошибочка вышла, дай исправлюсь. Вот и я, похоже, из доживающих ящеров. Как ни оглянусь кругом — все на меня не похоже. Даже ты, голубчик. А уж дети и подавно не в отца. На мой взгляд, нынешние ничуть не лучше нас, ошибочных. Но это на мой взгляд, ящерный.

— Никогда еще одно поколение не походило на другое, Иван Трофимович, — возразил я. — И в этом не только мать-природа виновата — сами люди тоже. Ты менял круто жизнь, было бы странно, чтоб твои дети никак не менялись вместе с жизнью.

— Менял... Да, круто... Ну так пусть хоть это вас поостережет — полегче на поворотах, сами видите, черт-те куда мир заносит.

— Полегче не получится, развитие не притормозишь.

И старик поднял склоненную голову, строго уставился на меня.

— Вот и проговорился, дружок. Не притормозишь, даже если видишь, что оно, осатанелое, в пропасть несет. Что же это — как не старая песня на иной манер? Все мы в рuce божьей?!

— Все мы подчиняемся объективным, то есть от нас не зависящим, законам. Законам, Иван Трофимович, не богу! Их путать нельзя.

— Почему же нельзя? Почему обязательно считать: они, мол, законы, такие-сякие, сами по себе откуда-то появились? А что, ежели предположить: они им спущены, чтоб порядок был? Чем ты докажешь, что твой взгляд верней моего?

— Доказать нельзя ни тебе, ни мне. Но если предположить, что законы от бога, то нам с таким законодателем не так уж и трудно поладить, а при случае и поправить его.

— Эй-эй, не бахвалься! Много на себя берешь, мил друг!

— Не я беру, человеку дано. Природой или тем же богом, если тебе это название больше нравится.

— Дано богом — «поправляйте меня, люди»?!

— Первая же палка, которую наш обезьяний предок подхватил, — что это, как не поправка природы: мало возможностей ты мне отпустила, ну так я сам увеличил их, вооружившись палкой. Природа позаботилась, чтоб люди поправляли ее, совершенствовались. Бог предполагает, а человек располагает... по-своему.

— Дорасполагались, хвастливое племя! — грудным сильным голосом, с темной кровью, бросившейся в лицо. — Сами себе стали страшны, друг для друга пироги с начинкой стряпаем... Себя поправьте, не бога!

— То-то и оно, Иван Трофимович, что себя-то мы, оказывается, еще плохо знаем. Человек куда более сложная материя, чем атомное ядро, а человечество трудней для понимания, чем вселенная.

— Ага, бодливой корове бог рогов не дает. Если люди еще и в себя полезут, то они такое натворят, что, как Библия обещает, смерти будут искать все, но и ее даже не найдут.

Открыться ему или утаить? Сейчас он и без меня травмирован, боюсь нанести новую рану — последний из друзей занялся сомнительным делом. Но если вдруг он узнает стороной, что я не доверился, скрыл, был с ним неискренен, то прямолинейный Иван Трофимович с презрением отвернется от меня. Не хочу, чтоб наши многолетние добрые отношения завершились враждой, не могу играть с ним в прятки... Решился открыться:

— Иван Трофимович, а ведь я та самая комолая корова, которая пытается бодаться...

Недоуменный взгляд и настороженное молчание, похоже, что он ждал от меня какого-то коленца.

Нет, он не возмутился, он слушал меня, не выражая ни недовольства, ни интереса, в его крупных одрябших морщинах — отрешенность монумента, не очень-то располагающая к красноречию. Уже не принадлежит ни к этому миру, ни к этому времени. После моей непродолжительной исповеди вновь наступило неуютное молчание.

— Рассчитываешь получить ответ... от игрушки? — спросил он бесцветно.

— От модели,— поправил я.

— Модель, игрушка — не настоящее.

— А разве модель самолета не помогает авиаконструктору понять, как станет вести себя его будущий, вовсе не игрушечный самолет?

Он трудно вздохнул и натужно стал подыматься, разогнулся медленно во весь рост — прямая спина ломается у лопаток,— передохнул и заговорил:

— Да, сынок, да, я из тех, кто ломал историю. Как трудно мне, ломающему, было понять, что история — это нажитый опыт человечества. Сынок, неужели мой опыт для тебя ничего не значит? Ты видишь, как под конец жизни мне трудно. Поверь в простое и не мудрствуй лукаво, не вноси отсебятины!..

Как некогда на фронте, он называл меня сынком, но это теперь не сближало нас, а походило на прощание. Он ждал от меня успокоения, а я не принес его, взывает ко мне и уже не верит, что пойму... Глядит мимо, в беспредельное — сжимается сердце.

Умные мысли приходят на лестнице.

Береги опыт и не вноси отсебятины... Если бы только одним нажитым опытом люди руководствовались в жизни, то они наверняка никогда не совершили бы ничего нового. Аналога колеса не существовало в природе, никакой опыт — только опыт! — не заставил бы служить нам колесо. Лук и стрелы, соха и ткацкий станок — все это не просто суммирование человеческих наблюдений, но и отстранение от них, прорыв в небывалое, никогда прежде не существовавшее.

Прости, господи, меня за дерзость, но я, грешный человек, должен уразуметь и то, до чего всемогущий господь не додумался!

Должен! Но по силам ли?..

5

Был вечер, но не настолько поздний, чтоб собираться ко сну. Я сидел за столом, пытался читать, но больше блуждал мыслью поверх строчек. Лампа освещала толстую книгу, стаканчик с карандашами и неказистую статуэтку — грубо вылепленного, нескладного, как краб,

человечка, сидящего на низенькой скамейке. Он высоко выставил колени, подпер руками срезанную голову — думает. Гость из непроглядного, какой-то скульптор каменного века вылепил его из глины, а засохшая глина способна сохраняться в земле вечно.

Сидящего человечка раскопали румынские археологи, сделали с него копии, одну из них привез мне приятель. В нелепом облике человечка, в его позе было то отрешенно-трагическое, которое через много тысячелетий вновь мощно повторит Роден. Историки так и назвали гостя из неолита — «Мыслитель».

В свое время я полюбовался на подарок, поставил его возле стаканчика с карандашами и... перестал замечать. Так и существовали мы долгое время рядом, он — занятый своими мыслями, я — своими.

Но однажды, когда я пытался безуспешно охватить какой-то слишком общий вопрос, он бросился мне в глаза, меня поразила догадка: если он пытался размышлять (а сомнений в том быть не может), то в своем каменном веке его мучило в принципе то же, что мучает меня в моем веке атомном. Как повлиять на жизнь — наверняка уже зрело и в его темном мозгу.

Велико разделяющее нас время, какими только событиями и переворотами оно не было заполнено, но ни капризы бытия, ни прах бесчисленных поколений не в состоянии отрезать нас друг от друга. Он, из крошечной тьмы веков, и я, нынешний, связаны единой заботой, которая возникла вместе с человеком, вместе с ним и исчезнет.

Досужие мысли прервал телефонный звонок.

— Чепе, Георгий Петрович! — голос Ирины Сушко. Этого еще не хватало.

— С машиной что-нибудь?

— И я так поначалу думала... С машиной, Георгий Петрович, все в порядке. Могу за нее ручаться!

— Так что же?

— В той жизни случилось странное...

— В той жизни?

— Там явился... Только не падайте в обморок!

— Хватит скоморошничать, Ирина! — крикнул я.

— Н-но, но! Не так сердито. Иначе ничего не скажу, заставлю терпеть до завтра.

— Ладно. Готов стать кратким. Выкладываете!

— Явился Христос.

Молчание. Ирина не спешила с разъяснениями.

— И это все? — поинтересовался я.

— Говорю: там явился Христос.

— Мне неинтересны ваши розыгрыши, Ирочка!

— Ах да, мы его убили!.. Ну так он восстал из мертвых. Докладываю официально: Иисус Христос воскрес, смертью смерть поправ.

— Что это значит?

— Это вы меня спрашиваете?.. Ладно, Георгий Петрович, время позднее для гаданий. Завтра в десять ноль-ноль буду на вашем чердаке.

Она положила трубку. Я ничего не понимал.

Завтра в десять ноль-ноль... Но через десять минут телефон снова заблаговестил. На этот раз баритон Миши Дедушки:

— Георгий Петрович, чего это Ирка лепит? Какого Христа?

— Не больше твоего знаю, Миша.

А через полчаса звонок Толи Зыбкова. И я взорвался:

— Звони Михаилу — и ко мне! Оба! Не задерживайся!.. Да, да, ко мне домой. Ирина через час будет здесь.

Катя на скорую руку собрала на кухне чай, присоединилась к нам, мы тесно впятером обсели маленький столик.

По дошедшим до нас преданиям первой возвестила о воскрешении Христа Мария Магдалина, пришедшая проститься с упрятым в пещеру телом учителя. Одержимая «царица идеалистов», как называет ее Эрнест Ренан, Мария издала восторженный крик, пронесшийся по векам: «Он воскрес!»

Ирина Сушко для нас исполняла сейчас роль Марии Магдалины. Она — нет, не восклицала в бурной экзальтации, да и волнения особого не выказывала — успела в одиночку пережить невероятное событие, — отхлебнула из чашки, поставила ее на стол, выудила пачку сигарет из сумочки.

— Если позволите, я закурю...

Затянулась, прищурилась на дымок.

— Ну так слушайте...

И стала трезвенько рассказывать.

Машина по запущенной в нее программе двигала нашу модель — вместо исчезнувшего Христа действо-

вал Павел. И тут отпала необходимость в наложенном на машину запрете — не повторять сочетания символов, которые в своей совокупности означали в нашей модели Христа. Но Ирина, наверно, не стала бы специально снимать этот запрет, если бы пришлось прилагать какие-то усилия, стирать с диска запись, нарушать цельность программы. Никто из нас не придавал большого значения побочному запрету. Однако случилось досадное. Ирина должна была снять свой пакет дисков, освободить место для другой программы, но замешкалась, оператор начал манипулировать с машиной... Спихнулись сразу, но часть нашей записи пострадала. И, оказывается, как раз в том именно месте, где находился запрет на Иисуса. Ирина не стала его восстанавливать — зачем, когда уже самостоятельно действует Павел, историческое место занято, — стерла окончательно.

Ученые постоянно нарываются на случайности. У Эрстеда случайно компас оказался рядом с проводом, подключенным к батарее... Случайно Беккерель положил кусочки урановой соли на обернутую в черную бумагу фотографическую пластинку... Ирина случайно, не придавая тому значения, выбросила запрет из нашей программы...

И освобожденная от запрета машина породила Христа. Она не ведала о его прежнем существовании, всякие следы об основателе христианства были стерты из ее машинной памяти, существовал лишь разрозненный набор многочисленных символов, означающих отдельные черты человеческих характеров. И то, что из этих частичек сложился облик Христа, случайностью уже быть не могло!

Отнюдь не экзальтированная, никак не идеалистка, но по-своему одержимая, Ирина несколько дней гоняла машину, ловила ее на ошибке...

Убитый нами Иисус воскрес, самая фантастическая из всех евангельских легенд повторялась бесстрастной машиной. И не повторялась даже, нет — машина ничего знать не знала о легенде, она ее вновь сотворила. Невольно испытываешь знобящий холодок: не на сверхъестественное ли наткнулись?

Ирина Сушко, новаяявленная Магдалина, придавила в блюдечке окуроч, поставила точку в рассказе. Мы все молчим. Даже Миша Дедушка, всегда готовый приветствовать чудо, сейчас смущен и растерян, исподтишка

поглядывает то на меня, то на Ирину. Круглая физиономия Толи Зыбкова покрылась розовой испариной, глаза распахнулись, стали обостренными, рысьими. И сбоку вглядывается в меня пытливо поблескивающим глазом Катя — хотел бы я сам взглянуть на свою физиономию.

Катя в своей обычной горделивой посадочке, белые руки прилегли отдохнуть на скатерть. Она первая нарушила тишину:

— Кто хочет еще чаю?

Никто не ответил. Пустота в моей голове, и переполненность в моей грудной клетке. А все-таки почему не торжествует Миша Дедушка, пропускает для себя столь редкий момент?

Снова Катин голос, уравновешенный, слегка насмешливый:

— Сами себя, выходит, перепугали... Выпейте еще по чашечке.

Осунувшееся лицо Ирины устало, она говорит в пространство, ни на кого не глядя:

— Мы — себя?.. Да нет, со стороны свалилось. Что-то там есть.

И Миша шумно выдохнул из бороды:

— Оно!..

Все шевельнулись, охотно повернулись в его сторону — пусть хоть Мишины необузданные фантазии, уже кое-что.

— Оно. Предопределение. Возразите теперь, что его не существует.

Не слишком-то необузданные и не очень новые для нас фантазии, слышал их не раз. Толя Зыбков без энтузиазма фыркает:

— Ну да, конечно, перст божий!

Он успел потушить рысий блеск в глазах, но взволнованный румянец все еще держится на его толстых щеках.

— У тебя короткая память, забыл, что я всегда втолковывал: и без бога природа божественна! — Хмель сенсационности наконец ударил в голову Миши, выправочка его обретает осанистость, а голос заносчивость: — Предопределенность в природе во всем — рыбы должны были создать пресмыкающихся, пресмыкающиеся в свою очередь...

Ирина Сушко досадливо перебивает:

— Слышали, Манилушка. Твоим предопределением, Гордый мудрый, любой узел не распутывая можно разрубить. Рубанем — предопределен Христос, и все тут! Закрывай тогда нашу лавочку.

Миша всепрощающе пожимает плечами.

— Что ж, объясни по-иному. Я послушаю.

— Сейчас не могу. Придется набраться терпения.

— Чему вы удивляетесь? Могло ли быть иначе? — заговорила Катя, краем глаза ловя выражение моего лица. — Любой из вас должен знать, как трудно изменить ход событий даже в том крошечном уголке жизни, где мы сидим пленниками. В той же семье, скажем... Нам постоянно кажется: стоит только поднажать — и наша жизнь станет на нужные рельсы, покатится себе ровнехонько... А кто из нас не желал ровнехонького наката и кто может похвалиться, что его добился? Всегда-то нас заносит на сторону, туда, где трясет да качает, набивает синяки и шишки. Это в семье, в малом масштабе, а вы хотите историю подправить — плыви, голубушка, иначе! Комары своим писком ветер изменить вознамерились, не смешно ли!..

— Историю? — возразила. — Слишком сильно сказано. Простенькой, весьма простенькой ее моделью пытаемся манипулировать. И вот — сюрприз! Н-да-а, впечатляющий.

— Что ж... — спокойно согласилась жена. — Честь вам и слава, модель-то ваша получилась нешуточной, настоящее повторяет.

— То есть учит: не лезьте вы со своими суконными рылами в калашный ряд. Не так ли? — без обычной агрессии, скорей тоскливо произнесла Ирина.

Катя пожала плечом, ничего не ответила.

— Честь нам и слава! — подхватил бодро Миша. — Похоже, уловили самое потаенное — наличие заданности в природе. Из атомов конструировала молекулы, из молекул живые клетки, из клеток организмы возрастающей степени сложности — по существу, природа работает на разум! А что мы сделали? Мы же бесцеремонно вырвали у нее дискретную частицу добытого разума. Нет, шалишь, не смей, не отдам! Модель сработала, возвратила свое...

Ерзавший Толя Зыбков вскочил с места, прокатился по тесной кухне от стула к двери, от двери к стулу, выпятив пухлую грудь, остановился, светло оглядел всех.

— Я... Я в растерянности! Не стыжусь признаться... Если хотите знать, даже счастлив этим! Вы вот тоже растерялись, так радуйтесь — есть над чем поломать голову, обозначилось, дух захватывает!.. Часто ли вам удается пережить такое? У меня, может быть, это чувство впервые. Да! Но ждал его, ждал! Верил — появится.

И я вдруг ощутил прилив благодарности к этому бескорыстному ловцу знаний. «Летите, голуби!» — пусть так. Но не кто другой, а он, Толя Зыбков, со своим интеллектуальным снобизмом сноровистой других поможет расставить мне силки на голубя. А уж я потом из рук не выпущу — лети, мол, — да нет, постараюсь заставить служить. На других ловчих, на Мишу Дедушку, даже на Ирину Сушко я так не рассчитываю. Миша мне станет извергать вулканические эмоции (еще нахлебамся), а Ирина Сушко отстранится: «Я штурвальный, Георгий Петрович, а вы капитан, путь вы прокладываете».

Дух захватывает... Толя счастлив, а я разве — нет?.. Впрочем, следует помнить, что самые духозахватывающие тайны, раскрывшись, куда как часто оказываются разочаровывающе скучны: наш праотец Адам отнюдь не идеал человека, а всего-навсего полуобезьяна, легендарный потоп — просто наводнение, а Вавилонская башня — не столь уж и высокий храм... И надо ждать: мистическое чудо, воскрешение Христа, скорей всего объяснится до обидного просто, до конфуза обыденно. Но дух захватывает — ничего не могу с собой поделать. Невьясненное есть чудо!

Со стороны поглядывала на меня верная Катя с сочувственной усмешечкой, которую уловить мог лишь я один. Она лучше всех понимала, что творится со мной. Понимала и, как всегда, не разделяла настроения, не принимала его всерьез.

В эту ночь я не мог уснуть, лежал в темноте и уносился в смутные времена, когда новое учение лишь слабо тлело под спудом событий, раздиравших великую Римскую империю.

СКАЗАНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Страсти о ближнем

Рано утром по спящей Аквилее разнесся тупой звук копыт. Нескладно-долговязый всадник, неловко взмахивая локтями, проскакал к улице, где жила знать города, остановился у калитки в каменной стене, через которую переваливалась тяжелая зелень. Морщась и постанывая, он сполз с низкорослой лошаденки, размял одеревеневшие ноги, постучал.

Долго не отвечали, наконец за калиткой раздались ленивые шаркающие шаги, выглянула сонная, изрытая оспой физиономия раба. Увидев приезжего, раб послушно отступил.

— Возьми лошады! — коротко бросил приезжий и, нетвердо ступая, двинулся через дышащий росной свежестью сад к колонной галерее господского дома.

Хозяин дома, один из видных людей города, Статилий Аппий был худ, мелковат ростом, на горбоносом, со впалыми щеками и висками лице несходящая утомленная брезгливость. Сейчас брезгливость держалась только в складке запавшего рта, глаза же, прикрытые веками, тревожно бегали. Его сорвали с постели, а он и без того плохо спал по ночам, всем известно — каждая минута утреннего сна для господина драгоценна.

— Говори,— обронил он, опускаясь на шкуру медведя, накинутую на сиденье.

— В Трех Птицах бунт!

У хозяина дрогнули веки и бегающие глаза замерли, но в мягкой складке бескровных губ прежняя брезгливость, усохшее желтое лицо бесстрастно.

Три Птицы — местность в сторону гор, в двухстах стадиях от Аквилеи, обширные земли владетельного Аппия. Там господская вилла, там хранилище зерна, загоны для скота, там свыше тысячи рабов и сотня вооруженных охранников.

— Ты ждал этого,— произнес хозяин.

— И ты тоже, господин! — с вызовом ответил приезжий.

Аппий впервые поднял на него взгляд, темный, недобрый.

— Твои слова о любви сделали свое дело...

— Мои слова без твоих благодеяний, господин, пусты. Бог их не слышит, а люди зlobятся.

Статилий Аппий не спускал налитых тьмою глаз с говорившего. Этот человек имел над ним странную власть. Плебей — с длинными руками, сутулой спиной, с истощенным, неутоленным лицом. Он без малого четыре года заменял управляющего, запутывал хозяйство. До него у Аппия было много разных управляющих, вытщенных из рабов и взятых со стороны, все они усердно разваливали хозяйство — пресмыкались и нагличали, льстили и бесстыдно воровали, клялись в верности и быстро обрастали жиром. А этот так и не отъелся — иссушен страстями, не угодничает, ничего не просит для себя, но постоянно надоедал просьбами о других. И прогнать его Аппий не мог — в тяжелую минуту свела их жизнь. Тогда все рушилось и смерть стояла над головой аквилейского всадника Статилия Аппия.

Он был не из тех, кто гордился древностью и знатностью своего рода. Скорей всего его прапрадед из простых солдат, которые добывали Риму Цизальпийскую Галлию. Оставшись в живых, он вместе с другими такими же освобожденными от службы получил клочок земли на далекой окраине возле вновь заложной крепости против варваров.

У военных крепостей, как и у людей, судьбы разные — одни хиреют и гибнут, другие живут и процветают. Крепость, построенная между речками Санциусом и Назито, оказалась на счастливом месте, через нее потекли товары в Паннонию и Норикум, Истрию и Далмацию. Она быстро населялась, отстраивалась, своими палаццо, театром, форумом старательно копировала Рим. И знаменитая Виа Эмилия соединила новый шумный город Аквилею с Вечным городом. Земли здесь обильно рожали, рабы стоили дешево, а потому Статилии разбогатели в Аквилее, но только дед Аппия незадолго до своей смерти получил от божественного Августа золотое кольцо всадника.

Вот тут-то неприметно проступила потаенная болезнь, как корневая гниль у крепкого дерева. Само богатство ее породило — тучные земли до самых гор и тысячи рабов на них. Рабов тысячи, надсмотрщиков сотни. Раба можно не кормить, надсмотрщика ублажи во всем. Надсмотрщики усердствовали — рабы гибли...

А земли Аппия лежали на окраине империи — за го-

рами текла большая река Данувий, за ней кончалась власть всемогущего Рима, там жили дикие свободные племена язигов и сарматов. Каждый раб знал об этом. Знал он и о том, что путь к свободе лежит через покоренную Паннонию, где стоят многочисленные легионы, все дороги перекрыты, все селения под надзором. Но выбора у раба нет, не все ли равно ему, где умереть — на поле под палкой надсмотрщика или на кресте за побег. Бежали группами и поодиночке, их ловили, казнили в устрашение другим, но снова бежали, и редким счастливым все же удавалось перебраться за Данувий.

Аппий знал, что кое-кто из хозяев решился — подумать только! — довериться своим рабам. Они раскраивали свои земли на клочки, сажали на них рабов — обрабатывайте, сейте, снимайте урожай, обзаводитесь семьей, никто не будет стоять над вами с палкой, заставлять: работай! За это только отдай половину своего урожая господину!

Статилий Аппий был из тех новых всадников, которые неохотно садились на коня, не знали, с какого конца братья за меч, зато хорошо знали, сколько медими зерна даст поле и где это зерно выгоднее сбыть. Он понимал выгоду — приручить рабов, освободиться от прожорливых надсмотрщиков, — но его прапрадед, римский легионер, был свободнорожденным, презирал рабов, считал — с ними нужно договариваться только кулаком или дубиной, даже использовать меч недостойно. Никто из Статилиев аквилейских, более двухсот лет сколачивавших себе богатство руками рабов, представить не мог, что раб способен трудиться сам — без угроз, без палки. Нельзя же вообразить, что волю вдруг придет желание пахать пашню! Раб та же рабочая скотина, только говорящая. И этой-то словесной скотине доверить то, чем сам живешь, — свою землю! Поставить себя в зависимость от рабов! Въевшееся веками недоверие сразу не изгонишь.

Аппий видел, как запускаются поля, как редеют стада на пойменных лугах, как лстыивые прислужники с жадной поспешностью рвут из его хиреющего хозяйства жирные куски и не могут насытиться. Видел — и ничего не мог поделаться, ни на что не решался.

Он страшился за свою старость и все чаще и чаще стал думать о службе: неплохо бы получить здесь, в Ак-

вилее, должность главного наблюдателя за товарами, приходившими морем... Должности же раздавались в Риме.

...Распутный Рим ужасал провинциальную знать, которая все еще робко держалась за суровые нравы италийской старины. Недавно принцепс Нерон, чьи статуи стояли рядом с изваяниями богов по всем городам империи, приказал умертвить свою властительную мать Агриппину. Говорят, она подставила под меч живот, выносивший сына: «Поражай в чрево!» Приказано дни, когда случилось убийство, ежегодно отмечать веселыми играми, а день рождения Агриппины считать в числе несчастливых. И ходили тревожные слухи о знамениях: одна женщина родила змею, другая на супружеском ложе поражена молнией, и солнце будто бы затмевалось над Римом...

Аппий все же отправился в Рим и попал на учрежденные Нероном пятилетние игры, проводившиеся уже второй раз. Коль прибыл в Вечный город, то не пойти на игрища просто нельзя — сразу же донесут, а это для провинциального гостя верная казнь. И входить в ристалище нужно с веселым лицом, так как множество соглядатаев запоминают тех, кто является с дурным настроением.

Хотя по всадническим привилегиям Аппий имел право занимать место в первых четырнадцати рядах, но пробиваться к ним он должен через тесные проходы, куда ломился буйный, наглый, жадный до зрелищ римский плебс.

Вместе со знакомым веронцем, почтенным старцем тоже из всаднического сословия, Аппий оказался в ревущей толпе. Кругом остервенело веселые физиономии, грубый смех, злобная ругань, истошные вопли, жалобные стоны. Старца опрокинули, Аппий ничем не мог ему помочь, его несло в потном, дурно пахнущем, рычащем потоке, он уловил ломкий старческий крик, видел, как в том месте в прущей вперед толпе образовалась волна, понял — веронец погиб, тысячи ног втопчут его старые кости в каменные плиты.

Раздавленный, побитый, в располосованной тоге, в измятой истерзанной тунике, на которой всадническая узкая пурпурная полоса выглядела непристойно, Аппий, не способный ни ужасаться, ни радоваться, что остался цел, оказался на жесткой скамье в четырнад-

цатом, самом последнем для избранных ряду. Над его головой все еще буйствовал, заполняя цирк, римский народ, пробивавшийся на представление по трупам своих сограждан.

...Выступление кифаредов и декламаторов сбившаяся публика слушала с каким-то нервным невниманием — до них ли, когда сам божественный император собирается сейчас лицедействовать перед всеми.

Наконец народ замер в ожидании...

И вышел он. Аппий впервые видел Нерона.

В пестрой, расшитой по-восточному тунике, в легкой, скромно отделанной золотом лацерне, приоткрывавшей несколько отяжелевшие ляжки, он выглядел слегка приземистым, недостаточно величавым в сравнении со своими многочисленными статуями. Его лицо, нежно-пухлое, как у нездорового младенца, было осенено светлым нимбом легких кудрей. И все ж таки он выглядел молодым и красивым. Густой гул одобрения хлынул сверху, с мест плебса. Хлынул, заполнил чашу цирка и медленно растворился, литая тишина сковала людей, каждый невольно затаил дыхание.

Наверно, не только Аппий, не соприкасавшийся с высоким искусством у себя в Аквилее, но и самые искушенные слушатели привередливого Рима не смогли бы честно себе ответить, хорошо или плохо под звуки кифары декламирует Нерон, хороши или плохи его стихи. Ни для кого не было существенным, что исполняется и как исполняется, подавляюще важным было для всех — кто исполняет: всемогущий властитель мира, перед которым трепещут сильные и слабые, самые знатные и презренно подлые. Все внимание каждого с болезненным напряжением направлено только на то, как он выглядит, как держится.

А Нерон со смиренным старанием исполнял все, что принято у лицедеев, то, чего требовала от них пристрастная публика: не сметь присаживаться для отдыха, не сметь отирать пот ничем, кроме одежды, в которую облачен, не сметь брызгать слюной или выделять что-либо носом, чтоб заметили зрители... Скромность и безупречность лицедействующего императора вызывали неистовые рукоплескания и грозовой одобрительный гул, прорезанный истерическими всплесками голосов, требовавших: еще, еще, не насытились!

Наконец-то Нерон кончил, преклонил колено, опу-

тив осененную светлыми кудрями голову, повел рукой — униженно-почтительнейший жест, выражающий уважение к зрителям, готовность принять их суд.

И зрители, притиснутые друг к другу, взорвались сначала хаотическими криками и рукоплесканиями, но крики постепенно упорядочились в дружные, нарастающие и спадающие валы восторга. Им в такт аккомпанементом хлопки тысяч ладоней. Римская публика сейчас сама давала представление одному-единственному зрителю, стоящему со смиренно опущенной головой на сцене. Римская публика была искусна, так как на постоянно устраиваемых зрелищах имела возможность освоить свои обязанности — хулить или восторгаться. Сейчас хулить запрещено — она тысячеусто восторгалась.

Аппий же у себя в Аквилее такой школы не прошел, он был разбит, чувствовал себя неудобно в рваной тоге, устал от шума толпы, от напряжения, с каким следил за императором, от собственного усердия, с каким бил в ладоши. И он никак не мог попасть в такт, хлопал вразнобой со всеми. Ходивший между рядами центурион надвинулся на него, без слов — ржавое лицо под начищенным шлемом равнодушно — ударил древком дротика раз, другой... С безразличием, как раба. А из-за его плеча вынырнула лисья физиономия, бросила острый взгляд, повела многозначительно носом.

Аппия в жизни никто никогда не бил, всегда он был окружен почтением, но странно: сейчас он не чувствовал ни обиды, ни гнева, а только боль в плече от удара. И страх... Столь внушительна удаляющаяся спина центуриона, такая каменная уверенность в ней — честно исполнено возложенное дело, — что Аппий не смел сомневаться: провинился, получил по заслугам. Однако почувствовал себя жалким, низким, ничтожным, затерянным во враждебной толпе — каждый должен презирать его, каждый волен оскорбить.

— Да хлопай же! Хлопай! — не глядя в его сторону, внятно сказал сосед, немолодой и осанистый, тоже с одной всаднической полосой на мятой тунике. — Домой не вернешься.

И Аппий усердно захопал, стараясь попасть в такт. Он хлопал, а страх в нем рос. Он вспоминал брошенный из-за плеча центуриона острый взгляд лисьей физиономии. Его заметили, его должны вывести. За неуваже-

ние к императору. Домой не вернешься. С такими, как он, в Риме не церемонятся...

Сосед старательно не смотрел в его сторону, ел глазами смиренного Нерона, бил в ладоши.

Аппий хлопал и — надо же — попадал в такт.

...Представление длилось весь день и всю ночь. Были недолгие перерывы, во время которых разрешалось выйти. Всем разрешалось, но он-то, Аппий, на примете. И Аппий не смел покинуть свое место. Зрители прямо на скамьях закусывали, доставая хлеб и вино из корзин. Раба, который должен принести еду Аппию, не пустили. Следовало бы разыскать у входа...

Он сидел и смотрел на представление, ничего уже не видел, ничего не слышал, но изо всех сил рукоплескал, когда рукоплескали все. Целый день, и ночь, и еще часть дня...

Он не помнит, как выбрался из ристалища. Раб, верно ждавший с корзиной еды у входа, дотащил его до дома, где Аппий всегда останавливался, когда приезжал в Рим.

Его заботливо уложили и началась горячка...

Он очнулся и увидел над собой нависшее узкое смуглое лицо, внимательные темные глаза.

— Благодать божья снизошла к нам — ты глядишь и взгляд твой осмыслен,— объявил незнакомец.

— Кто ты? — слабо спросил Аппий.

— Я врач, мое имя Лукас.

Так состоялось знакомство — еще в полубреду.

Хозяин дома — богатый купец-иудей — был связан торговыми делами с Аппием уже много лет. Аппий через свое влияние в Аквилее помог ему получить римское гражданство, а потому сейчас больному — лучшие покои, внимательный уход и верный врач.

Лукас был грек из Антиохии, там он сошелся с проповедником новой веры. Проповедник этот страдал тайным недугом, Лукас его лечил, ездил с ним и по Галатии и по Македонии, прибыл в Рим.

В прошлом году страшный пожар опустошил Рим, Нерон посчитал, что в нем повинны те, кто исповедует подлую веру, неугодную богам, приказал хватать и казнить. И казни были страшны, о них говорили по всей империи — несчастных одедали в шкуры диких зверей,

травили собаками, их жгли на кострах в таком количестве, что ночами в садах Нерона было светло, словно в праздник. Сам Нерон сидел в толпе в одежде возничего и любовался...

В эти дни Лукас потерял проповедника Павла: погиб ли тот, схваченный на улицах среди сотен других, или успел с немногими счастливыми прорваться в Остию, где их ждал корабль, отправлявшийся в Испанию, — неизвестно. Сам Лукас уцелел потому, что врачевал богатого патриция в загородной вилле.

Он был вольноотпущенником, но не из тех, кто добился свободы собачьей преданностью хозяину, изворотливостью и помыкательством над другими рабами. Он заслужил благодарность знаниями, которые щедро применял с пользой. И слабый и сильный одинаково в нем нуждались. Угловато-нескладный, не скрывающий своей плебейской простоты, он словно исчез, становился незаметен, когда не нужен, и возникал, оказывался незаменим, если случалась беда. От его мягкого голоса, от внимательного молчания, от прямого, чего-то ждущего взгляда усталых темных глаз исходил обволакивающий покой, столь редкостный в этом издерганном, ненадежном мире, где каждого сторожит незримая опасность.

Не настойки из трав и не резко пахнущие притирания лечили Аппия, а этот нежданно свалившийся покой. Его страх, что могли заподозрить в неуважении к божественному Нерону, стал мало-помалу казаться нелепым. Да и сам коварный Нерон в этом тихом убежище был далек и призрачен, неправдоподобен, как минувший кошмарный сон. О нем просто не хотелось вспоминать, и начинало вериться, что есть еще на свете доброта, есть надежные люди, возможна неторопливая — без недомолвок, без утаиваний — беседа.

— Бог установил, чтоб на земле были рабы и были господа, — тихо говорил склонившийся над лежащим Аппием Лукас. — Но это не значит, что бог больше любит вас, господ. Рабу он поручил самое тяжелое — носить бремя покорности. Что может быть тягостнее этого? Так неужели бог не должен любить раба? И господин, спесиво презирающий покорность, не идет ли против бога, не наказывает ли тем сам себя?

Тихий голос, но уязвляющий. Аппий пытался возмутиться:

— Но разве раб не ленив, не лжив, разве он нес бы бремя, которое взвалил на него бог, если б его не заставляли силой? Найди мне такого раба, который смиренно покорялся бы, и я буду любить его!

— Я сам был рабом,— напоминал Лукас с кроткой прямоотой,— и меня любили... Да, такие, как ты, господа. Иначе я не получил бы свободу.

— У меня не было похожих на тебя рабов.

— Ты просто их не замечал,— спокойно возражал врач.— Их мало. Да. Большинство рабов не несут богово, потому-то бог и наказывает их вашими руками. Ну а скажи, господин, многие ли из вас поступают так, как завещал бог? Он завещал — не убий, а вы убиваете не жалея, даже гордитесь своим правом убивать. Завещал — не кради, а вы крадете...

— Я ни разу в жизни ни у кого не украл! — возмутился Аппий.

— Ой ли?.. — усомнился Лукас.— Ты крал, сам того не зная, у своего раба — вместо полной горсти олив давал половину. Ты кормил досыта своих волов, но только не рабов, которые на тебя трудятся. Или я лгу, благородный Статилий Аппий, твои рабы всегда были сыты?..

И Статилий Аппий молчал.

— Вот я и хочу сказать, что угодных богу господ так же мало, как угодных богу рабов. Никто из них не любит ближнего своего, как самого себя.

Узко посаженные внимательные глаза в упор. Аппий молчал и вспоминал, как на его плантациях остервенелые надсмотрщики рвут себе его именем у голодных рабов последний кусок хлеба. И рабы бегут от него, чтобы быть пойманными и распятыми на кресте... Он, честный Статилий Аппий, негодует на жестокий мир, где люто господствует злобный Нерон, а как должен чувствовать себя его раб в том мире, господином которого является сам Аппий?..

И Лукас, словно угадывая его мысли, начинал рассказывать об учителе — в Антиохии, Галатии, Фракии он создавал общины, где есть бедные, есть богатые, есть господа и есть рабы, но все друг другу братья; господин постоянно помнит — «трудящийся достоин награды своей», а раб, ставший братом господина, не забывает, что тем более должен усердно служить ему.

День изо дня шли разговоры, день ото дня крепло решение у Аппия — создать у себя общину, в которой

он станет любящим отцом своих рабов. Но ему нужен верный помощник... Аппий стал уговаривать Лукаса ехать с ним.

Обоим было опасно оставаться в распаленном злобою суетном Риме. Они выехали, как только Аппий почувствовал себя достаточно здоровым.

Ехали ясными осенними днями по Эмилиевой дороге, идущей сквозь холмы Этрурии, по низким долинам лениво текущего Падуса. И продолжали вести неторопливые разговоры. И Аппию тогда казалось: все ясно и просто, впереди новая жизнь, впереди перерождение.

Эмилиева дорога кончилась в Аквилее, а вместе с ней кончилась и ясность и простота. Аппий сразу же протрезвел. Он собирался почти всех рабов посадить на землю. И это должно быть только началом будущего братства... Но как все оказывается сложно и запутано, когда приглядишься пристальнее!

Среди самых сильных и здоровых рабов полно неисправимо испорченных. Всю жизнь их били, чтоб работали, не смели передохнуть, не жалели себя. И вбили в них такую ненависть к труду, что охотней сдохнут с голоду, чем добровольно пошевелят пальцем. Никакими уговорами, обещаниями их не проймешь. Таким — землю?..

Большинство рабов еле себя таскают — истощены. Эти просто с землей не справятся, если даже и захотят...

Выходит, только горстку рабов, сохранивших силу и какую-то добросовестность, можно наделить землей.

Но и тут сомнение — давать им хорошую землю или ту, что похуже? С плохой земли эти лучшие работники будут получать и плохой урожай — много ли с них возьмешь тогда? А отдать им лучшие поля, а самому возиться с плохими работниками на плохой земле — уж совсем глупо.

Аппий колебался и ничего не предпринимал.

Зато Лукас действовал. Он требовал, чтоб надсмотрщики не свирепствовали без нужды. Каждый раб мог теперь пожаловаться на них хозяину.

— Бог требует — хозяин, люби своих рабов, рабы обязаны любить своего хозяина! — внушал новый управляющий.

Жалобы рабов до Аппия не доходили, от имени хозяина их разбирал Лукас. Он помнил, что сам когда-то был рабом, каждую жалобу разбирал по совести,

обидчиков не щадил. И надсмотрщики начали остерегаться, не пускали в ход палки и просмоленные веревки, не подгоняли рабов. А рабы вместо благодарности стали хуже работать; все чаще и чаще вели себя нагло.

Лукас, хороший врач, горячий проповедник слова божия, оказался плохим хозяином. Еще немного — и все начнет трещать и разваливаться. Аппий очнулся и решил вмешаться, пока не поздно.

Он отобрал молодых рабов, выделил им землю, разрешил брать в жены рабынь. Для остальных он вернул прежние строгости — палки и просмоленные веревки снова заработали по тощим согнутым спинам.

Аппий ждал, что Лукас возмутится, готовился к крупному разговору:

— Согласен слушать твои советы, но от помощи уволь...

Лукас, бывший раб, был бестолковым хозяином, но никак не глупым человеком, он и сам понял, что заигрался с рабами. Аппию не пришлось убеждать его, напротив, опомнившийся Лукас вознегодовал:

— Неблагодарные! Вы забыли, что всякая власть от бога! Кто не слышит слова божия, того вразумит палка!

И странно, Лукас упал в глазах Аппия — не столь уж и мудр на поверку, он, Аппий, прозорливее.

Среди полей стали расти хижины, крытые камышом. В них жили те, над которыми не висела палка надсмотрщика. Каждый из рабов теперь мог заслужить такую свободу — стоит лишь войти в доверие к хозяину. А через несколько лет большинство осядут на землю, обзаведутся семьями. Надсмотрщики будут не нужны, крики избиваемых умолкнут, ни у кого не появится желания бежать, кресты с распятыми телами не вырастут больше вдоль дорог. Это ли не новая жизнь?..

В те дни Аппий тихо торжествовал и как никогда верил в «любви ближнего своего».

Но это покойное торжество длилось недолго. Земля, переданная рабам, стала рожать куда меньше, чем прежде. Не получалось ли, что раб без палки — плохой работник? Нет, рабы-надельщики трудились, не жалея сил. Однако большинство ковыряло землю мотыгой — нельзя же вместе с землей подарить каждому еще

пару волов. Да и какой смысл при малом поле держать волов, они просто сожрут жалкое хозяйство раба. Земля словно рублище нищего, заплата к заплате, в нее вколачивалось много сил, а половина, которую получал с земли Аппий, была тоща.

И, как всегда, ожидались купцы, с которыми торговали еще отец и дед Аппия. Отказать им — значит признать себя разоренным. Дед и отец Аппия снабжали хлебом и мясом римские легионы, стоящие в Паннонии. Тут хоть сам умри с голоду, а выдай сполна — Рим отговорок слушать не станет. Один выход: не жалеть посаженных на землю рабов, забрать у них все что имеют.

На этот раз всегда стоворчивый миротворец Лукас не выдержал, начал упрямо возражать:

— Господин! Дал слово и не держишь его. Самый последний раб будет презирать тебя.

Аппий сурово и холодно ответил:

— Когда бегут от опасности, коня не жалеют. Ты спасаешь коня и хочешь гибели всадника. Выбери, кому служить!

— Я давно выбрал, благородный Аппий, — служу богу, а перед богом все равны, всадники и кони, господа и рабы.

— А кто недавно говорил, что бог требует от рабов покорности? — напомнил Аппий.

— Так же как и от господ — милосердия.

И Аппий вспыхнул.

— Хочу быть милосердным! Хочу! — С гневом, с болью, со страстью. — Но тогда кто-то должен быть милосерден и ко мне. Кто меня спасет от кораблей, которые осенью придут из Далмации, чтоб забрать обещанную шерсть и оливковое масло? Кто меня спасет от римских закупщиков, от гнева легатов? Спаси ты, и я поступлю, как ты скажешь.

Лукас поднял усталые из-под серых век глаза.

— Ты привык торговать, Статилий Аппий. И сейчас готов продать свое милосердие подороже. Оплаченное милосердие — просто корысть, как купленная совесть — уже бессовестность.

Аппий долго разглядывал сутулящегося перед ним помощника — узкое лицо поражает худобой, глаза темные и больные. Как ни странно, сейчас всем нехорошо — ему, хозяину, его рабам и этому вклинившемуся страстотерпцу. Кто ж тогда счастлив на этом свете?

— Кто ты, чтоб оскорблять меня? — с глухой угрозой спросил Аппий.

— Твой брат.

— Нет — враг!

Лукас невесело улыбнулся:

— В наше время все друг другу враги — брат брату, сын родной матери. Вспомни Нерона, Аппий, и поступи со мной так, как всегда поступал он, — прикажи убить.

Аппий не хотел походить на Нерона, он проглотил обиду и постарался подавить в себе гнев.

— Ты будешь жить, — сказал он. — Ты будешь служить мне. Я стану действовать, и тебе придется меня оправдывать. Мы — братья. Ты и я. Рабы давно уже так считают. Они никогда не поверят, что ты спасаешь их, а не меня. Самое удобное в твоём положении — не подавать голоса.

Лукас опустил голову. Куда ему деться? Велик белый свет, но всюду в нем одни порядки, одна жизнь — богатые и обездоленные, властные и подвластные, и нет между ними такого пространства, где можно бы спрятаться. Любвеобильному вольноотпущеннику Лукасу не найти иного места, как быть при хозяине.

Свою верную домашнюю челядь Аппий облачил в панцири, вооружил тупыми гладиаторскими мечами, послал к рабам-надельщикам. Возле крытых камышом хижин раздались вопли, там били палками тех, кто утаивал от хозяина свои жалкие запасы.

Все, что отбиралось, свозилось на усадьбу Три Птицы, за высокий частокол, за крепкие стены. Охранники с длинными сарматскими копьями сторожили собранное добро.

Лукас молчал, возражать не мог, знал, что его возмущение будет встречено всеми с подозрением и со злобой. А слова о любви сейчас и вовсе прозвучат издевкой. Наиболее упрямых рабов-надельщиков забивали до смерти. Там и сям горели камышовые крыши. Несколько матерей задушили своих детей, так как решили, что им все равно суждено умереть от голода. Лукас молчал, и все вокруг накалялось.

И вот — бунт. В Трех Птицах. Рабы перебили охрану, подожгли господскую виллу и склады с зерном.

Стагилий Аппий был готов к этому, заранее договорился с городскими властями — выделить ему манипулу из охранных когорт. И сейчас поднять ее на ноги не требовалось много времени.

С первыми лучами солнца от Аквилеи ускоренным шагом двинулся отряд легионеров — поблескивали латы, игриво вспыхивали лезвия вознесенных пилумов, качался значок манипулы.

Аппий в торжественной белой тоге, открывающей тунику с пурпурной всаднической полосой, ехал позади отряда. За ним сплоченной кучкой поспевали облаченные в гладиаторские доспехи домашние рабы, его личная охрана.

Аппий ни на шаг не отпускал от себя трясущегося на неоседланной лошаденке Лукаса, шурясь, вглядываясь в даль, мстительно говорил тихим, ровным голосом:

— Ты лжец, Лукас. Всего-навсего лжец. Ты лгал мне, себе, рабам, своему богу. Не может человек любить человека. На земле слишком тесно, Лукас, люди мешают друг другу. Так было. И так будет.

Лукас встряхнулся, распрямился, повел блуждающим затуманенным взглядом, с вызовом произнес:

— Оглядишься, господин, раскрой глаза. Разве ты не видишь, какой простор кругом?

А оглянуться стоило. Они ехали однообразной равниной, ее конец означался в запредельной дали зыбкими, как облака, горами. Пока еще низкое солнце освещало сутулые опаленные горбы, между ними лежали низинки, до краев заполненные влажной тенью. В глубине неба плавали два ястреба, им нетрудно было окинуть с высоты степную бескрайность. И, должно быть, свободные птицы презирали ползущих по узкой дороге ничтожно маленьких людей, закованных в металл.

— Земля обширна, господин, и это ты видишь сам. На ней всем хватает места. Но человеческая алчность больше необъятной земли. Мы сейчас войдем в тот край, который ты зовешь своим. И будем идти и идти, не раз отдыхать, поить коней, а твое все не кончится. Зачем тебе столько земли, благородный Аппий? Ты так же мал, как и другие, тебе не под силу проглотить все, что на ней родится. И все-таки тебе тесно, тебе мешают, не даешь жить другим. Не безумен ли ты, Стагилий Аппий? Если так, то достоин жалости.

А Аппий шурился на далекие синие горы.

— Ты уже достаточно жалел меня, Лукас, не пора ли тебе пожалеть и себя?

— Не пугай меня, Аппий. Что ты можешь мне сделать? Только одно — отнять жизнь. Но неужели ты еще не понял — мне тяжело жить на этом свете, в котором тесно от алчности. Отними и живи сам, страдай от тесноты, дрожи от страха перед более алчными. Не позавидую тебе.

Обдуваемый ветерком, покойно покачивался на коне Аппий, покачивался и болезненно шурился в освещенную солнцем даль, не спешил с ответом.

— Я проверю, Лукас, — наконец сказал он. — Проверю, хочешь или нет ты жить дальше. Я предложу тебе выкупить жизнь. И цена, наверно, не будет очень большой.

Лукас огорченно вздохнул:

— Ты и тут остаешься торгошом, Аппий. А вот я никогда не торговал... жизнью. Ни своей, ни чужой.

Они продолжали ехать бок о бок.

Подымалось солнце, низинки, заполненные влажными тенями, исчезали, степь стала ровней и казалась теперь еще обширней. Два ястреба продолжали кружить в синеве над упрямо ползущими людьми.

Удушливый чад окутывал обломанные ветлы, истоптанную усадьбу, насыпь с выщербленным частоколом. Сквозь нечистый дым зловеще багровело оседающее солнце, и слепо метались выгнанные из загонов овцы. Их жалобное блеяние походило на капризный женский плач. Утробно мычали волы, пахло паленой шерстью, горелым мясом и едкой кислотой разлитого вина.

Были взломаны винные погреба, и нельзя сразу распознать, кто из валяющихся среди уксусной грязи рабов мертв, а кто мертвецки пьян.

К дымящемуся пепелищу виллы, от которой почти целиком осталась колоннада галереи, сгоняли схваченных женщин, детей, стариков. Мужчин было немного, большинство ушло в горы, их начнут ловить позднее, а пока хватает хлопот и с теми, кто есть. Только один рослый раб связан, он был пьян, крутил медно-гривастой головой, скалил белые зубы, рычал и рвался из веревок. Всех остальных тут же заставляли рыть ямы, подтаскивать столбы, набивать на них перекладины. Стуча-

ли топоры, лязгали лопаты, раздавались сдавленные выкрики, маячили в угарном тумане рослые фигуры легионеров — шла работа, виновники готовили для себя место казни.

Аппий с темным лицом, провалившимися глазами, но в белой, лишь чуть потускневшей от копоти тоге сидел на уцелевшей садовой скамье, и к нему кучками подгоняли рабов, ставили на колени. Лицо Аппия было темно не только от сажи — все запасы зерна уничтожены, скот разбежался, неизвестно, удастся ли собрать половину... Он бросал лишь скользкий взгляд на припавших к земле рабов, вялым движением указывал наугад. Рука часто попадала на детей. Воины выхватывали указанных — вопли, стоны, женский плач, бляние овец, стук топоров, угарный дым и низкое кровавое солнце.

Лукас торчал за скамьей позади Аппия, смотрел в землю, старался ничего не видеть. За его спиной переминались двое охранников, бородатых, остро пахнущих потом. Им приказано не отпускать управляющего.

Ночь прошла в угарной толчее. К рассвету потянуло свежим ветерком, согнавшим дым, открывшим унылое безобразие земли. И все было готово для казни — столбы, напоминающие какую-то редкую, мертвенно голую рощу, и стиснутая рослыми воинами тесная толпа обреченных. Сколько столбов, столько голов.

Но один столб стоял на отшибе, казался лишним.

Рабы распинали рабов. Те, кому вялый жест руки Аппия даровал жизнь, трудились в поте лица, казнили жуткой казнью своих товарищей. Легионеры брезговали этой грязной работой, стояли в стороне, наблюдали, величественные и невозмутимые.

Солнца, вырвавшегося из-за гор, хлынувшего через степь, никто не заметил. На сожженном, истоптанном, загаженном кусочке земли метался вой, надсадный, рвущийся, гортанный, режущий, звериное рычание, сдавленные стоны, истошные проклятия, раздирающая бессловесная мольба. Кипит воздух, мир до небес отравлен бешенством. И корчились вознесенные на столбах тела, и с ожесточенной неумелостью суетились возле них палачествующие. И закутанный в тогу, немощно маленький Статилий Аппий заворуженно взирал запов-

шими глазами. За ним теснилась трусливо сбившаяся челядь.

На ближайшем столбе, напрягая мощные мускулы, хохотал рослый раб, пышные волосы яркой меди, сам весь ковано-бронзовый, только оскал на безглазом лице сверкающе белый. Он уже раз сорвался вниз, раскидал троих палачей, вцепился четвертому в горло, подоспевший легионер опустил плашмя меч на медную голову, оглушил. Его вновь подтянули, прикрутили к столбу. Сейчас буйный раб очнулся, изгибаясь, рвался и дико хохотал, заглушая вопли и стоны. Раба этого звали Фортунат, то есть счастливый.

Уже тогда только, когда солнце поднялось высоко, накалило землю, вздернули на столб последнего — золотушного мальчишку. С ним справился в одиночку некто Кривой Силан, громивший винные погреба, возле них и схваченный спящим. Силан старался изо всех сил, выслуживал прощение.

Посреди разгромленной усадьбы разноголоса выла и стенала обремененная плодами роца, хохотал в корчах Фортунат, отдыхали под столбами рабы-палачи, честно исполнившие господскую волю. Сверкая на солнце шлемами, на равном расстоянии друг от друга стояли неподвижные воины.

Аппий, спеленатый тогой, словно дремал, лицо темно и безглазо, лишь прокаленный лоб таил жизнь — прорезан напряженной морщиной. Все оглядывались на него, ждали повелений. Аппий слабо пошевелился, чуть слышно в бушующем вое сипло позвал:

— Лукас.

Лукас был рядом, старался ничего не видеть, но слышал все — и смех обезумевшего Фортуната, и тоненький, еле-еле уловимый среди общей бесноватости плач только что распятого золотушного мальчика. Лукас не откликнулся, но двое охранников грубо подхватили его под руки, выволокли на глаза господина.

— Кривого Силана сюда, — приказал вяло Аппий.

Кривой Силан сам услужливо двинулся волочащейся от страха походкой, встал раскорякой — на шерстистой физиономии собачья преданность.

— Лукас, подыми глаза, погляди на своего ближнего. — Осипший голос Аппия не гневен, скорей устал, равнодушно тускл.

Лукас смотрел в землю.

— Подыми глаза на Силана, Лукас!

И Лукас поднял глаза. Только низкий покаты́й лоб не зарос волосней, две вывороченные ноздри да мутный глаз в красном мокром веке проглядывают сквозь шерстистые заросли. Мутный глаз, таящий тупой страх и покорное ожидание. И жилистая сморщенная шея и выпирающие голодные ключицы.

— Один столб еще свободен, Лукас. Сам выбери, кому висеть на нем. Тебе или ему? — Аппий кивнул на Силана.

Мутный глаз в красном веке лишь смигнул, но тупой страх в нем не стал ни больше, ни тревожней, путаная волосня скрывала лицо и душу, если только она, душа, была в этом искореженном теле.

— Перед тобой твой ближний, Лукас. Вглядись в него повнимательней. Он умеет жрать и пить да еще ковырять землю под палкой. Только под палкой, Лукас. Он никого не любит, никого никогда не жалеет, ни о чем никогда не думает кроме как о своем брюхе. Ты так много, Лукас, говорил о любви к ближнему, так вот тебе ближний, докажи, что его любишь, что слова твои не обман. Согласись вместо него висеть на столбе. А он распнет тебя, он охотно это сделает, потому что хочет жить... Силан, ты хочешь жить?

— Хочу, господин,— смигнув красным веком, ответил Силан.

— Решай, Лукас, а я подожду. Не стану тебя торопить — обдумай, хорошо обдумай. Нам некуда спешить.

И Лукас, обмирая, разглядывал своего ближнего — дика его заросшая физиономия, под низким черепом не рождаются мысли, тело его раздавлено тяжелой работой, изувечено постоянными побоями, он рожден в рабстве, не слышал доброго слова, только ругань, только угрозы, даже мать наверняка никогда не ласкала его. И сам он, можно не сомневаться, ни разу в жизни не произнес доброго слова, зато постоянно грубые проклятия, не умеет жалеть, пожалуй, даже и ненавидеть не умеет. Без ненависти он сейчас распял на столбе золотушного мальчишку, не дрогнув, без ненависти распнет и его, Лукаса. Вместо себя, чтоб жить дальше своей проклятой, безрадостной жизнью. Он не скрывает — хочет жить!

Аппий удачно выбрал ближнего — полюби, сменяй себя на это выросшее в жестокости животное. Себя, ко-

торый способен страдать за других, себя, который тонко чувствует, много знает. Нет! Нет!..

— Ну и что же, Лукас? — спросил Аппий.

Мутный глаз в красном веке сверлил Лукаса. Кривой, заросший Силан ничего не понимал, как не понимали, наверно, и другие. Силан просто боялся и ждал развязки, как ждет баран, приведенный к убойщику.

А спеченно-темное лицо Аппия ожило, на нем проступила брезгливая усмешечка. Аппий не сомневался в ответе.

Лукас молчал... Для всех ясно — не равноценен обмен! А уж для Аппия в первую очередь. Лукас молчал.

Он скажет «нет», и тогда Аппий окажется прав: он, Лукас, лгал — люби ближнего, как самого себя. Себя любит куда больше, чем Кривого Силана. И Аппий восторжествует: он выторговал все-таки себе оправдание, станет жить как жил, услаждать свою алчность, считать — нельзя иначе, чиста совесть. Его совесть будет чиста, а совесть Лукаса не даст ему покоя — продал, что свято, предал, чем жил! Люби ближнего? Но даже самого себя любить перестанешь — лжив, нестойко, продажен. Из года в год презрение к себе, из года в год к себе ненависть! Аппий предлагает — спаси жизнь, пошли на смерть другого. Но ведь жизни-то не будет, будут мучения...

— Столб свободен, Лукас,— все с тою же брезгливенькой усмешечкой напомнил Аппий.— Кого же ты выберешь для него?

Лукас распрямылся, и брезгливенькая усмешечка слиняла с лица Аппия.

— Скажи ему,— повел Лукас острым подбородком в сторону Кривого Силана,— пусть делает свое дело.

И медленно побрел к столбу.

Аппий растерянно молчал, Кривой Силан не двигался, стрелял единственным глазом то в спину Лукаса, то в господина — ничего не понимая, он ждал знака, не заросшей физиономией, а всем телом выражая готовность.

Лукас дошел до столба, развернулся к людям — серое узкое лицо, горящие глаза, расправленные плечи. А по соседству с ним корчился в жутком хохоте кроваво-бронзовый Фортунат. И многоустый стон рвался к небу.

С минуту Лукас стоял, обводя взглядом взъерошенного, как больная птица, Аппия, раскоряченного возле

него Кривого Силана, тесно сбившуюся, настороженную толпу позади их, хоронящуюся под столбами кучку рабов-палачей, сурово-неподвижных, парадно сверкающих латами легионеров в оцеплении.

— Лю-ди!

Голос Лукаса был неожиданно режуще звонок, в сбившейся толпе произошло некое содрогание.

— Лю-ди! — Лукас вскинул длинную тощую руку к стонавшим столбам. — Вам нравится это?! Очнитесь, люди, — вы затравите друг друга! Вам и теперь невозможно жить. Одно спасение, люди, — лю-бить! Перед смертью зову вас — любите! Мудрый блаженного, богатый нищего, сильный слабого! Любите, как братья! Жертвуйте всем ради любви, как я сейчас жертвую жизнью!

Лукас кричал, а рядом в корчах изнемогал от хохота Фортунат. И нескладная, тощая фигура Лукаса, его срывающийся, резкий, заглушаемый громкими воплями голос, взывающий к любви, был столь нелепо неуместен, что все стали недоуменно переглядываться. Никто, кроме Аппия, не понимал, что, собственно, происходит, почему этот длинный человек оказался у столба и о чем он кричит — о какой-то любви. Возле столбов с казненными!

Недоумение должно было как-то разрядиться. Хохотал Фортунат, и его издевательский смех заражал недоумевающих. Кто-то за спиной нахохлившегося Аппия в тесной толпе истерически взвизгнул, кто-то рассыпался мелким смешком, и все зашевелились, заколыхались — прорвалось! Смеялись, раскачиваясь, в толпе. Приседали, хлопая себя по коленкам, рабы-палачи. Тряслись в своих латах невозмутимые легионеры. Ощерился в путаной бороде беззубый рот Кривого Силана, выдавил кашляющие звуки. А громче всех по-прежнему хохотал Фортунат. И стонали распятые на столбах.

Лукас, взведенно вытянувшийся, ставший, казалось, еще длиннее и нескладнее, с гримасой ужаса озирался. Наконец он пошатнулся, схватился за голову, медленно осел. А все глядели на него и покатывались...

Не смеялся только Аппий, взирал провалившимися глазами на скорченного под столбом Лукаса. Все вторили обезумевшему Фортунату. С явным усилием Аппий шагнул вперед, волоча по земле свалившуюся тогу, подошел, постоял над согнувшимся Лукасом, тронул его за плечо.

— Живи... И не будь шутом.

Резко отвернулся, дергающимся шагом, таща за собой конец тоги, двинулся прочь, скупое кивнул на ходу, чтоб собирались в дорогу.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

1

Профессор-востоковед Ю. Я. Перепелкин, открывший тайну древнеегипетского золотого гроба (в нем лежала соперница Нефертити), писал впоследствии: «По необходимости расследования ведутся способами, напоминающими те, что описываются в так называемых детективных романах, с тою особенностью, что предмет расследования отстоит от нас более чем на тридцать три столетия».

Вот и я, чтоб уличить святого апостола Павла, тоже пытаюсь превратиться в Шерлока Холмса.

Рассмотрим версию, которая напрашивается сама собой: Павел сочувствует гонимым и угнетенным, но пасует перед силой власть имущих — «всякая душа да будет покорна...».

Однако скудные свидетельства говорят не в пользу этой версии.

В Дамаске правитель царя Ареты хотел схватить его. Ученики спустили Павла в корзине на веревке с городской стены.

В Антиохии толпа взбешенных евреев напала на Павла и его спутника Варнаву, вытащила за город, забросала камнями. Их посчитали убитыми, бросили посреди поля и разошлись. К утру они очнулись.

«От иудеев пять раз дано мне было по сорока ударов без одного», — невесело вспоминает он.

Помимо этого его еще трижды били палками.

Не раз заковывали в кандалы.

Трижды он терпел кораблекрушение — «ночь и день пробыл во глубине морской».

«Много раз был я в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне... в опасностях между лжебратьями, в труде и изнурении, часто

в бдении, в голоде и жажде, часто в посте, в стуже и нагоде».

Даже отрывочные сведения о жизни Павла доказывают — он был фанатично неуступчивым, бескомпромиссным человеком. Нет, не приспособленец, и в напористости и дерзости ему не откажешь.

Нельзя объяснить его поведение и кастовой принадлежностью. Сын шатрового мастера, должно быть, не бедного, если уж дед его был настолько заметен в процветающем Тарсе, что сумел приобрести себе и своим потомкам римское гражданство. Но Павел-то оторвался от дома еще в ранней юности, жил «в голоде и жажде... стуже и нагоде», его окружение — друзья и ученики — не из привилегированных слоев, отнюдь не властители.

Был нищ, был гоним, никогда не отличался угодливой кротостью — воинственно страстен, лишен какой-либо изворотливости, всем его посланиям присуща напористая прямолинейность, он из тех, которые что думают, то и говорят. Значит, он был искренне убежден, когда настойчиво повторял: «Рабы, повинуйтесь господам своим». И всего лишь несколько раз у него стеснительно прорывается: «И вы, господа, поступайте с ними так же, умеряя строгость, зная, что и над вами самими и над ними есть в небесах Господь, у которого нет лицепрятия». К рабам требовательно, к господам просительно. «Люби ближнего своего» у Павла получается с перекосом.

Христос обещал царство небесное обездоленным и не собирался пускать в него богатых — «удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши». И потому рабы принимали его; но какой интерес им было идти за Павлом?.. Пожалуй, даже и самим господам трудно верилось, что на их жестокое насилие им смогут ответить беззаветной любовью. Не рабы, не господа — тогда кто же следовал за Павлом?..

И я ухватился за трубку, набрал номер...

— Ирочка, простите за поздний звонок. Срочно нужна справка: как в нашей модели прививается павлианство?

Секундное молчание, вздох.

— Не хотела огорчать вас, Георгий Петрович, — туго прививается, буксует.

— Прекрасно!

— Не нахожу. Модель наша стала вялой, недоно-

шенная какая-то. И тут еще Христос из небытия выплыл...

— Прекрасно! Так и должно быть.

— Эге! Что-то вы у себя наколдовали. Похвастайтесь.

— Хвастаться рано. Пока смутное. К утру, думается, ясней будет. Потерпите.

Я положил трубку. Мыслитель со стола взирал на меня доисторическими глазами. К черту прославленный дедуктивный метод! Плох тот криминалист, который не становится на точку зрения преступника. Шерлок Холмс должен влезть в шкуру Павла.

2

И снова, снова я вижу пыльную дорогу в бурой степи. Столбы вдоль нее от селения к селению, на них висят смрадные трупы, кружится воронье... Мертвый оскал на каждом шагу, крики и стоны, бряцанье лат, сверканье отточенных пилумов — и я, гонимый последователь того, кто призывал любить врагов, отказаться от забот: «Не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний день сам будет заботиться о своем: довольно для каждого дня заботы». То есть закрой глаза на то, что делается вокруг, живи себе, как живут птицы небесные — «они не сеют, не жнут, не собирают в житницы». Мы бы теперь это назвали «внутренняя эмиграция».

И не надо быть семи пядей во лбу, чтоб понять элементарное: если все станут жить наподобие птиц небесных, не засеять поля, не выращивать скот, то впереди ждет всеобщий голод, оскудение, смерть! Любой здравомыслящий содрогнется от такой перспективы. Разве я, находясь на месте Павла, не противопоставил бы легкомысленной беззаботности жестокое условие: «Если кто не хочет трудиться, тот не ешь»? Условие по сути своей благонамеренное и никак не новое, господа издавна им пользовались — не кормили тех, кто не хотел или уже не мог работать. Должно пройти много веков, когда восставшие труженики отточат его до лозунга и направят против господ: «Кто не работает, тот не ест!»

«Если кто не хочет трудиться...» Но смрадные трупы с оскалом потому и висят на столбах, что несчастные уже не могли больше вынести... да, труда! Он страшнее смерти. На положении птиц небесных не проживешь — трудись! Но как?..

В одиночку? Каждый обеспечивая лишь сам себя?..

В одиночку не осушишь болота, не выкорчует лесной массив, не проведешь оросительный канал, какие-то земли, которые уже кормят человечество, придется забросить. В одиночку затруднительно даже пользоваться силой вола — обходись мотыгой. А тут уж о хорошей жизни и не мечтай. История повернет тогда вспять — регресс, деградация...

Работать сообща, сообща делить между собой без лишних ухищрений — всем поровну?..

Но не получится ли тогда, что сильный и добросовестный работник будет кормить лодыря? Мускульный труд нелегок, добросовестный в конце концов начнет снижать усердие до бездельника. Тут уж и работающим и неработающим одинаковая нищета.

Распределять же по заслугам — больше усердному, меньше бездельнику... Значит, появятся привилегированные и парии, которые со временем должны превратиться в тех же господ и рабов...

Павел не знал о существовании производительных сил, их диктаторском влиянии на общественные отношения, он просто интуитивно чувствовал: господство, увы, неизбежно для его времени, от него не избавишься.

«Люби ближнего своего...»

Я мысленно пытаюсь действовать за Павла. К кому обратиться в первую очередь с увещающим словом — к господам или рабам? Элементарная логика подсказывает — к господам. Они хозяева положения, в их власти миловать и наказывать, проявлять доброту и творить зло. А вот на подневольных рабов рассчитывать просто бессмысленно, их возможности ничтожны.

Но почему же тогда Павел обращается главным образом к рабам с настойчивостью и даже с пламенной надеждой? К господам же — нехотя, через силу, без всякого энтузиазма?

Попробуем поступить вопреки Павлу. Со всей силой и страстью, на какую только способен, я обращаюсь к господину — люби! И, предположим, он примет благоговейно это «люби», отбросит палку, повернется участливым ликом к рабу. А раб?.. До сих пор он надрывался под палкой из последних сил, ну а теперь, без палки, станет надрываться еще сильнее — уже от умиления. Ой ли? Скорей всего захочет отдохнуть, снизит усердие.

Любящему господину придется вновь пустить в ход свою палку.

А вот ежели убедить раба: будь послушен, чти господина, усердствуй для него, — и тогда в идеале палка, возможно, и не подымется, если даже ее станут держать нелюбящие руки. Только от раба может исходить инициатива любви, от господина ждать ее нечего. А потому: «Хочешь ли не бояться власти? Делай добро и получишь похвалу от нее».

Сколько угодно можно с высоты нашего времени и не соглашаться возмущенно с Павлом, и удивляться его простодушной утопичности, но нельзя отрицать его сообразную с веком логику. Вовсе не такой уж он на поверку непоследовательный.

За Христом, наставляющим любить врага, не обременять себя заботами, поднимались обезличенно забитые, беспомощные, не способные постоять за себя, мечтающие сбросить извечное проклятие ненавистного труда. Эти люди не привыкли думать, за них это делали хозяйева, а потому последствия обещанной беззаботности их не смущали — «птицы небесные...». И к таким относилось большинство населения. Массовость движения была обеспечена.

Но это движение неизбежно сразу бы столкнулось с самой жизнью, требующей забот и усердия. И если б оно не было задушено силой, то со временем наверняка само угасло бы, как угасли многочисленные религиозные волнения, которые постоянно сотрясали Иудею.

Спасти движение могли иные взгляды и настроения. Один Христос еще не делал христианства, появившийся за ним Павел — столь же необходимая фигура.

Однако и Павел, возникни он со своим учением без Христа, как в нашей модели, имел бы тоже сомнительный и недолговечный успех. Проповедь покорности и неизменности — «каждый оставайся в том звании, в котором признан», — вряд ли бы приняли обездоленные массы. А то учение, которое не принимает раб, бесполезно и для господина. На рабов оно никак не влияет, а на господина-то кой-какие обязанности все же накладывает: «не заграждай рта у вола молотящего», проявляй заботу, даже люби... Да зачем же господину столь обременительное и безвыгодное учение?

Парадоксально — для того чтобы учение жило, оно

должно объединять в себе крайне несходные, противоречивые утверждения. Различие взглядов в массовом движении — явление обычное. Кому было выгодно верить Христу, тот продолжал верить. Кого Христос не устраивал — обращались к Павлу. А так как помимо несходства в учениях Христа и Павла существовали и общая непримиримость к жестокости, и общий мотив любви к ближнему, то это создавало впечатление единства. Резко несходные по образу жизни, взглядам, интересам люди, каждый цепляясь за наиболее приемлемое для него, вливались в общее течение, ширили его. Забитый раб вылавливал утешающее — «трудно богатому войти в Царство Небесное», а владетельный господин тащил себе — «каждая власть от Бога».

Как для дела Христа нужен был Павел, так и для дела Павла — Христос. Друг без друга они оказались бы всего-навсего временщиками, каких множество в истории, и почти все забыты.

Машину запрограммировали на развитие возникшего движения, а сохранить его с одним Павлом было невозможно, потому-то убитый нами Иисус Христос должен был воскреснуть вновь.

Нет, не мистика: смертью смерть поправ... Ход развития того требовал.

3

На следующий день наша четверка должна была собраться у меня в институте. Хотя мои размышления были пока, так сказать, прикидочными, «непромешанными», но кой-чем поделиться можно. И где-то под спудом я ощущал и угрожающие толчки новых проблем...

Однако очередной наш «совет четырех» сорвался — в семь утра раздался звонок в дверь: «Примите телеграмму!» Телеграмма от сына:

«Буду двенадцатого девятичасовым поездом, встречать не надо. Сева».

О его приезде шли разговоры давно, еще до демобилизации. То мы начинали ждать со дня на день такой телеграммы, то смирялись: осел на стороне, вот-вот сообщит о женитьбе, придется или самим ехать, или зазывать к себе — уже в гости. А затем снова период невнят-

ностей, недомолвок в письмах, намеков на возвращение в отчий дом. За периодом невнятных начиналась неустойчивая пора горячих желаний, тоска по дому... Мы ждали и теперь, да, но все же сообщение — «буду» — нас застало врасплох. Господи! Двенадцатое-то — сегодня! И поезд-то прибывает через два часа. И номер вагона не указан — «встречать не надо». Три года не виделись, столько разочаровывались, а когда пришло вымечтанное «буду» — встречать не надо. Сева! Сева!..

После долгих и бестолковых обсуждений мы согласились: мчаться на вокзал, рассчитывать на удачу — авось столкнемся — глупо, лучше уж здесь ждать и готовиться.

И ждать нам пришлось не два часа, а целых четыре. Катя слепо толкалась по углам, что-то прибирала, что-то налаживала в кухне, роняла кастрюли. Я метался, висел на телефоне, разузнал, что поезд опоздал всего на пятнадцать минут, с отчаянья хватался даже за книги и бросал их. Четыре часа!..

Мы не просто ждали сына после долгой разлуки. Нетерпением наше состояние никак не назовешь. Все последние годы судьба сына висела над нами, как горный снег над путниками, как пресловутый дамоклов меч. Мы ждали затянувшейся развязки. Мы ждали приговора. Куда мог исчезнуть наш блудный сын, в какую свернул сторону?..

Оказывается, Сева галантно решил отвезти не знавшую Москвы попутчицу в Ясенево...

Но он предстал перед нами, и мы вмиг все забыли — и прошлые раны и нынешнюю пытку. Катя ожила, принялась накрывать на стол, а я завел с сыном мужской разговор пока что так, ни о чем — о духоте в вагонах, о возросшей в Москве суетности, о зелени новоотстроенного периферийного Ясенева. Для Севы отец наверняка — «каким ты был, таким остался», три года мало изменили меня. Передо мной же сидел пугающе незнакомый человек.

Он чуть-чуть подвытянулся, а вширь не раздался, вместо прежней юношеской угловатости обрел вкрадчивую гибкость. Раньше глядел букой, наверно, поэтому не замечались широко расставленные прозрачные глаза — прятал их. Теперь же, напротив, они как бы подставлялись — взглядишь, пожалуйста, у меня для тебя на дне спрятана эдакая легкомысленная, но приятная

улыбочка. Вид здоровый и уверенный, а по одежде не разгадаешь — бедствовал или преуспевал в последнее время: помятая в дороге сорочка с небрежно закатанными рукавами и не слишком заношенные, ладно сидящие джинсы, да на вешалке — выдавшая виды кожаная куртка. Я вглядывался и испытывал тихое счастье оттого, что приятно смотреть, ничто не оскорбляет — нравится парень!

И весь день прошел в этом тихом созерцательном счастье, в необязательных разговорах, в расспрашивании, приглядывании, вспоминании анекдотических случаев нашего далекого семейного прошлого. Но за вечерним чаем Катя, более решительная, чем я, начала...

— Что ж, пора открыть свои козыри, сынок,— сказала она.

Сева, должно, давно ждал этого, ответил с ходу, без колебаний:

— Москва. Только Москва! Из нее ни ногой.

— Учиться? — спросил я.

Он улыбочиво встретил мой взгляд и тряхнул головой.

— Я крепок в своих убеждениях, папа.

— Как это понять?

— Учиться и потом торговать своими знаниями считаю по-прежнему... Ну как бы тебе сказать?..

— Невыгодным? — подсказал я.

— Да нет, того больше — опасным!

— Да-а,— произнес я.— Да-а... Торговля вообще рискованное дело. Особенно торговля знаниями. Приобрел их, кусок жизни тратил, а вдруг спросу не будет.

Новый, не похожий на прежнего Севу разглядывал меня широко расставленными улыбочивыми глазами.

— Ты хочешь сказать, папа: следует отдавать себя безвозмездно — стране, народу, грядущим потомкам?

— Тебе это совсем кажется диким?

— Старомодным.

— Прости. Отстал. Как же выглядит новая мода?

— Живи и жить давай другим, папа.

— Не такое это уж и новое.

— Но со времен моего деда — забытое.

— Наверяд ли. Всегда хватало тех, кто старался жить тихой сапой.

— Вот-вот. Тихой, прячься. Потому что наши деды установили: не смей жить для себя, живи для буду-

щего, для далеких потомков. Ну так я уже тот самый потомок, папа. А разве оттого, что мой дед себе во всем отказывал, мне жить стало лучше?.. Я и решил, папа, жить для себя, тогда мой внук, может, и в самом деле станет счастливее меня.

— Отчего, собственно, ему быть счастливее? Оттого ли, что его дед Всеволод что добыл, то сам и прожил, ничего не оставил после себя?

— А я бы хотел, чтоб предки мои забыли кое-чего мне оставить. Очень хотел! Например, термоядерную бомбу, папа...

— Вместе с ней мы оставляем тебе еще и много полезного.

— Автомобиль «Жигули», пилу «Дружба» и всякую всячину, зато отнимаете чистые реки, свежий воздух, зеленые леса.

Он сильно вырос за эти годы, наш мальчик, стал не только самостоятельной, а явно умнее — за словом в карман не лезет, не дуется на родителей, как прежде, глядит с открытой улыбочкой и... пожалуй, откровенней, чем прежде, презирает отца вместе с его обветшалыми упованиями на прогресс.

— Если мода «живи для себя» утвердится, — заговорил я, стараясь быть спокойным, — то еще неизвестно, сын, есть ли смысл нам говорить о твоих внуках. Вы, того гляди, откажетесь иметь детей, так как для них нужно постоянно отрывать от себя. И немало! Как бы род людской не прекратил существование.

— Ты забыл, папа, что я сказал: живи и жить давай другим. Уж ежели я буду делать все возможное, чтобы не заедать жизнь чужому дяде, то неужели я не постараюсь для своего сына?

Сева сидел перед нами свежий после принятой ванны, в белой майке, открывавшей смуглые мускулистые плечи — жизнь на стороне не потрепала парня, а выпестовала и отшлифовала, — красив, невольно любишься. Но мне не по себе возле него, стесняет, не прилажусь.

Я повернулся к Кате:

— Тебе это нравится, мать?

И осекся: Катя долго молчала, чужевато разглядывала сына, наконец произнесла:

— За что, Сева?..

— Разве я что сказал обидное, мама?

— Ты ударил меня.

— Я? Тебя?!

— Ты же знаешь, что я никогда не жила для себя, только для тебя. И еще для отца. Для вас двоих... И вот слышу сейчас: а зачем?.. Оказывается, надо было жить себе просто, давать другим жить, но особо для них не надрываться... Награды, право, себе я и не ждала, но зачем же осуждать меня? И еще свысока...

— Ма-ма! — Сева вскочил, обнял мать. — Мама! Осуждаю?.. Нет, нет! Всегда помнил, мама! Любил, жалел, думал о тебе постоянно... С нежностью, мама!

— Ты хорошо научился обманывать себя, но не меня, Сева.

— Как мне доказать тебе?!

— Ты уже доказал.

— Что?

— Любишь, постоянно думаешь, а за два года службы не постарался вырваться к матери. И после службы не спешил ее увидеть. Наконец приехал — любишь мать, кинулся опроретью, зная, что она ждет, волнуется... Да ничего страшного, если поволнуется и еще подождет, — девочку-попутчицу отвезу на край Москвы, лишнюю минутку с ней побуду... Не надо оправдываться, Сева. Я же не тебя упрекаю — себя. Тратила себя — все тебе, себе ничего, а в ответ — люблю. Я почему-то не очень верю — слова, и ничего больше. Не научила отзывчивости. А кто как не мать должна учить этому.

На секунду в лице Севы кольхнулось смятение, щеки вспыхнули, глаза остекленели, он растерянно оглянулся на меня, уставился снова на мать и... освобожденно рассмеялся:

— И правда хорош!.. Все в точности, все так и было. И с девчонкой этой... Зачем мне перед ней перья распускать? Нравилась-то умеренно. Чемодан у нее тяжелый, ну как не помочь. Возле такси очередь, ну как не усадить. А когда в машине дверка распахнута и на тебя благодарно смотрят, ну как не сесть рядом: жми, шеф! Всегда у меня черт карты путает. Помню, скучаю по дому, Москву во сне вижу, жду не дождусь отпуска, наконец оформляют, и... несет меня в другую сторону. И ведь помню же, скучаю, да себе не хозяин. Пообещать бы вам сейчас: исправлюсь, мама, исправлюсь, папа! Но честно — слаб против черта, все равно же попутает...

Маленькая рисовочка — любуйтесь, такой уж есть,

иным не буду! — право, не мешала искренности, глаза глядели прямо, с недоуменной над собой насмешечкой. И я почувствовал угрызение совести — в первый же день вьелся в парня. И не глупо ли ждть рассудочности в неполных двадцать три года, не бессмысленно ли огорчаться — ветер, мол, в голове. Он сейчас смеется над нашей серьезностью.

Катя конфузливо кинула на меня потеплевший взгляд, ища сочувствия.

Возвращение блудного сына не обошлось без столкновения. И победителем в нем были не мы.

Он быстро уснул на своем детском диванчике под ковриком с изображением фантастического оленя в фантастическом лесу. А мы с Катей засиделись на кухне.

— А не кажется ли тебе странным,— спросил я,— у нашего Севы вдруг легкий характер?

Долгое молчание.

— Он что-то пережил...— сказала она.— Очень тяжелое.

— Но почему очень?

— Иначе бы так резко не изменился. Он меня пугает, сам на себя не похож.

— Бодр, весел, неглуп, конечно, с заносами и, что важно, сам это осознает... Нет оснований пугаться, Катя.

— Он не такой, Георгий, каким кажется...

И мы затихли.

Какими тайнами заполнены эти три года в жизни сына? Что он испытал, что открыл, что понял — узнаем ли мы, или же так и останется от нас скрытым? Вместе с житейскими тайнами он и сам для нас сейчас тайна. Может, у всех так? Был ли я тайной для своего отца?.. Пожалуй, нет. Отец мой, инспектор райзо по коню (существовала и такая должность), многого не понимал из того, что увлекало меня, но кто я, «в каких щах варюсь», он себе достаточно отчетливо представлял.

Я открываю связи, которые тянутся к нам через тысячелетия, а вот связь с родным сыном для меня остается проблематичной.

Наша модель, не удовлетворившись одним Павлом, вновь возродив Христа, подсказывала нам: эти личности не случайны, сложившиеся в течение веков обстоятельства должны были породить именно таких, а не каких-то иных персонажей истории. Христос и Павел — выдающиеся фигуры, ну а не выдающиеся, заурядные — они случайны, разве история не создает их по определенным образцам?..

Некий предположительный Статилий Аппий — личность самая что ни на есть заурядная. Он, пожалуй, не прочь бы стать добрым, да обстоятельства вынуждают — приходится изуверствовать. В патриархальные времена он скорей бы всего мирно пас скот, возделывал своими руками поле, а где-нибудь в середине XIX столетия был бы добропорядочным буржуа. Христос и Павел, Калигула и Нерон, Статилий Аппий и Кривой Силан — любой и каждый без исключения продукт времени, его одухотворенно-вещественная молекула.

Историю делают люди?.. Но ведь история сама куёт людей, как гигантов, так и пигмеев, героев и обывателей. Мы не созидатели всеохватного человеческого процесса, лишь участники его.

За широким арочным окном в зное городского полдня варилась улица — урчала, шипела, выплескивалась через край машинным ревом. За окном очередной день, к нему некогда медлительно сотнями тысячелетий шел с корявой палицей сутулый неандерталец, продвигался облаченный в шкуры кроманьонец, родовые кланы объединялись в племена, племена сливались с племенами, строили города, создавали государства, бушевали войны, возникали и исчезали народы, менялся способ добывания хлеба насущного и всего прочего, что поддерживало жизнь, — движение вперед, к этому проходному дню! Он рубеж между прошлым и будущим. Он зыбкий гребень времени, который зовем настоящим, чтоб с новым поворотом планеты проститься с ним навсегда...

Проститься? Да нет, понести его дальше, дальше... Каждый текущий день — финиш неведомо когда начавшегося пути. Он ли несет в себе нас, или мы несем его на своих плечах?

Этот день наблюдает и старый Иван Трофимович Голенков. Всю свою долгую жизнь он действовал

во имя этого дня, а сегодня вот недоволен собой — получилось не совсем то, что хотел. Мой же сын Сева не озабочен, чтоб что-то вложить в день текущий, просто намерен прожить его, как и все остальные отпущенные ему дни. Но и Сева, однако, не желая того, что-то все-таки оставит сегодня. Не зря же мы с матерью гадаем — обрадует он нас или огорчит? И огорчение и радость — след, и не такой уж поверхностный, если способен тревожить меня, менять мои мысли и мои поступки. Бесследных людей не существует на свете. Бесследных людей — в истории. А тогда верен ли вывод — не люди делают историю?

Наш маленький штаб собрался на совещание. Все противоречивое, что варилось во мне, я, разумеется, не смел выплескивать наружу. Но от этого проклятый вопрос о роли личности имел недоношенный вид, выглядел неутешительно.

Ирина туго сводила свои сумрачные брови, и глаза под ними поблескивали с выжидательностью затаившегося хищника. Миша Дедушка усиленно мигал, теребил бороду — вот-вот хмель прозрения ударит ему в голову. А Толя Зыбков неловко вывернулся в креслице, одно плечо выше другого, круглое лицо, словно луна над речным туманом, то подергивается тенью, то светлеет.

— Уж не достигли ли мы конечной истины? — первой негромко нарушила молчание Ирина. — Уныло же она выглядит, однако.

Миша встрепенулся.

— Свят, свят! Что с тобой, Ирочка? «Истина конечная»!

— Нам, человекам, не дано взнудать историю, напротив, она нас кует себе на потребу. Тогда зачем же нам ковыряться в жизни, зачем мучительно въедаться мыслью, открывать неведомое? Лишний раз можем только напомнить себе — несамостоятельны, рабы стихии. Выходит, сейчас мы набрали на такие знания, которые отвергают необходимость знаний вообще. Разве это не конечная истина? Смертельно конечная для разума!

— Мать, дай пощупать твой лобик. Ты температуришь. У тебя бред.

Ирина даже не повернула головы в сторону Дедушки, досадливо повела плечом.

— Дерни себя за бороду, Манилушка. Проснись! Нам сейчас нужно или отречься от эксперимента — к

абсурду пришли, ерундовиной занимались, — или во все-услышание объявить: дорогие собратья, мы со своим хваленым сознанием добрались до черты, дальше ехать некуда.

— Не пугайте, Ирина, — сказал я. — Вы же сами не верите своему максимализму.

Она скорбно вздохнула.

— Еще бы. Поверь в такое — и надо вешаться.

— Ну то-то, — воспрянул Миша Дедушка. — В следующий раз будь осторожней — может родимчик хватить.

— «А все-таки она вертится!..» — Толя Зыбков, выломившись в креслице, обвел нас немигающим рысьим взглядом. — Все-таки от «история кует» легко не отмахнешься.

— Внимание! — объявил Миша. — Искусник сейчас выпечет крендель.

— Несамостоятельны, рабы стихии... Ирина Михайловна, вы стихию-то видите эдаким богом-погонялой. А ведь стихия — это же мы и есть.

— Неуправляемые, — вставила Ирина.

— Сами собой — да!.. А вообще — как сказать.

— Эй-эй! — подхватился Миша. — Ты у меня сейчас предопределение украдешь.

— Одолжу на время. Не возражаешь?

— Бери насовсем, не жалко.

— Что ты хотел сказать своим «вообще»? — спросила Ирина.

— Вообще, Ирина Михайловна, что такое управляемость? Управляем ли процесс распада радия? Или синтез гелия в солнечном чреве? Или фотосинтез зеленого листа?.. Тут, наверное, не об управлении говорить надо — об упорядоченности...

— Заданной, старичок, заданной! — напомнил Миша.

— Кем?

— Этого, извини, не скажу.

— А раз не скажешь, то и о заданности не имеешь права заикаться. Упорядоченность просто неотъемлемое свойство стихии, как многоцветность радуги. И почему эта строго упорядоченная стихия — та же история — должна нуждаться в управлении, нашем или боговом?.. Дед, возвращаю тебе твое предопределение, больше не понадобится...

— Куда гнешь, лукавый?

— На перехват Ирины Михайловны, мудрый Дед. Она, прошу прощения, сильно разогналась — «бесполезно мыслить»... К необъятной природе мы лезем со своим куцым утилитаризмом — полезно нам или бесполезно? Словно природе до этого есть дело. Нам выделена роль мыслящих существ, и хотим мы того или не хотим, а мыслить придется — сомневаться, ошибаться, страдать от бессилия, совершать весь джентльменский набор гомо сапиенса. Поэтому не спрашивай никогда себя, что даст тебе новая мысль, а радуйся, что она явилась, мысли дальше.

И снова в который раз меня охватило возмущение этим умным мальчиком. Сейчас сильнее прежнего, потому что в Толе Зыбкове увидел я Севу Гребина с его неоригинальной мудростью — живи и жить давай другим. У этих двух столь разительно несхожих представителей молодого поколения одна движущая пружина, заведенная на себя. Сева способен удовлетвориться малым — работка повольней, зарплатка покрупней, не исключено даже левый доходец сорвать при случае, но дальше не пойдет. А вот лобастый Толя Зыбков собирается использовать торжествующую науку. Мне в удовольствие тешить свою любознательность, искушать свою мысль, постараюсь заручиться для этого помощью государства, а что касается того, буду или нет «тем любезен я народу», меня, право, не волнует — можете пользоваться, если сумеете, а сам я до ваших низменных нужд не опущусь. Супермены в джинсах!

Я перед Севой чувствую родительскую вину — не приложил усилий в воспитании, — потому сейчас пасую перед его улыбочкой, мои доказательства отскакивают как горох от стенки. Ну а перед Толей-то моя совесть чиста, пасовать не собираюсь. И я повернулся к Толе всем телом.

— Ты, кажется, забыл, какими вопросами мы занимаемся?

— Помню, Георгий Петрович. — Невиннейшим голосом, с ласковой кошачьей прижмуркой.

— Помнишь, что были распяты на крестах, сожженные на кострах, погибшие на баррикадах, расстрелянные в застенках ради решения этих проклятых вопросов? Ну так они и теперь висят над нами проклятием. И ради чего же ты предлагаешь нам заниматься

ими? Ради того, оказывается, чтоб доставить себе удовольствие, свои способности испытать, свои силы потешить. То, что, мол, мучительно для других, мне в наслаждение. Черт знает, какая-то патология! На садизм похоже. Тебе это не кажется?

— На садизм?.. Георгий Петрович, уж так-то зачем?.. — Плотная физиономия Толи порозовела, прижмурка исчезла, круглые глаза зелено цвели.

— Пусть не садизм, а безнравственность. Тебя устроит?

— Нет, Георгий Петрович, не устроит. Всего-навсего смею лишь не согласиться с вами: вы считаете — будем управлять стихией, я говорю — нет. Так неужели это безнравственно?

— Э-э, голубчик, не отказывайся от того, что сказал: не спрашивайте, мол, себя, что даст новая мысль, просто радуйтесь и мыслите себе дальше.

— Не вижу тут никакой безнравственности.

— Что ж, объясню поподробней... Ты считаешь — природа нам выделила особую роль мыслящих существ, ну так будем играть ее с душой, наслаждаться изощренным искусством. Разум для наслаждения!.. Это ложь, голубчик! Неоправданная и вредная ложь! Разум и появился-то от нужды, от безвыходности. Чем еще наш праотец мог спасти себя как не счастливой догадкой использовать палку? Будь он вооружен острыми зубами, когтями, сокрушающими мускулами — не пытался бы задумываться. И мы сейчас бегали бы беспечно нагишом, носили бы под твердыми черепами недоразвито-гладкий мозг. А теперь вот во всеуслышание заявляем и не краснеем: играть роль мыслящих готовы, но до нужды нам дела нет. И это тогда, когда подпирают глобальные опасности, гамлетовское «быть или не быть» миру заставляет содрогаться всех. Дела нет, плевать, будем наслаждаться, а там хоть трава не расти... нравственна такая позиция?

Добрейший Миша Дедушка со смущением гнулся к полу, избегал глядеть на друга. Ирина же прицельно уставилась на Толю, забыв о дымящей сигарете. Толя подобрался в своем креслице, совино нахохлился, круглые глаза стынут на круглом лице.

— Георгий Петрович, — заговорил он после недолгого молчания холодно и с достоинством, — убедите меня, что есть... есть реальные возможности взнудать

неподвластную стихию — да, силой разума, да, подчинив управлению! — и я признаю себя иудой, повешусь от стыда на первой же осине.

— Ну, милый мой!.. — Я развел руками. — Осадил! И с какой напыщенностью, с трагедийным пафосом: повешусь, торжественно обещаю, но прежде убеди меня в том, в чем пока никто на свете не убежден. Много же ты хочешь для доказательства своей неправоты.

Зеленые глаза повело в сторону, на выпуклый лоб набежала морщина. Толя ничего не ответил, опустил голову — по-прежнему нахохлен.

Ирина вонзила в пепельницу потухшую сигарету, закурила новую.

— Мальчику ясно! — возвестила она. — А мне пока нет!.. Помните ли, Георгий Петрович, наш разговор о том, что дурные сообщества развращают добрые нравы?..

— Конечно.

— А я-то думала — запомятовали. Вы, если не ошибаюсь, сказали тогда, Георгий Петрович: что-то мешало людям создавать хорошие сообщества, не исключено — что-то не зависящее от самих людей.

— И еще сказал, Ирочка, — это «что-то» нам следует выяснить. Сейчас беру на себя смелость заявить: подбираемся к выяснению... окольными дорожками, но, надеюсь, они приведут от Павла в наш день.

— Верно. Привели, — с холодной бесстрастностью согласилась Ирина. — К тому, что люди не влияют на историю. Получается: дурные сообщества возникают сами, а хорошие создать нам не дано — невлиятельны, стихии, видите ли, подчинены. Но тогда есть ли смысл, Георгий Петрович, упрекать в безнравственности нашего милого ученого сурочка? Помочь себе мы не можем, предаваться отчаянно бессмысленно, так не лучше ли принять мудрый совет — предаться доступным наслаждениям, как это делали в средние века во время повальных эпидемий? К черту самоистязания, да здравствует пир во время чумы! Прошу прощения, наши экспериментальные выводы толкают на это.

— Ну и ну! — возмутился Миша Дедушка. — Доигрались...

— Обождем пировать. Рано, — сказал я.

— Готова ждать сколько угодно. Знать бы — чего?

— Конца расследования, Ирочка. Надо же нам по-

нять, что именно мешает людям творить доброе, нравственное.

— Предположим, пойдем. И что же?

— Вот те раз! — удивился я. — Понять объективный закон — не значит ли им пользоваться? Не закон ли всемирного тяготения указал нам, как его преодолеть, вырваться из объятий планеты?

И Миша облегченно хохотнул:

— Точно! Закон что телеграфный столб — перепрыгнуть нельзя, а обойти можно.

— Гм... — Ирина украсила пепельницу новым окурком. — Что ж, подождем. Чумной пир на время откладывается.

Толя Зыбков усиленно заворочался, заскрипел креслицем, обратил ко мне свое круглое обиженное красное лицо.

— Ладно, Георгий Петрович, кто старое помянет, тому глаз вон. Буду с вами до конца... пока не упрямся в глухую стенку.

— В стенку, Толя?.. В глухую?.. Или ты забыл, что таковой не существует в природе? Вспомни-ка. «Самое непостижимое в этом мире то, что он постижим».

Толя смутился. Автор этих слов Альберт Эйнштейн свят даже для суперменов в джинсах.

5

К селу Яровому, где прошло мое детство и не успела начаться моя юность, подступали запущенные — с вырубками, болотами, мокрыми пожнями — леса. Зимой они были густо истоптаны зайцами, и подростки, мои приятели, промышляли ими. Не ружьями, ружей не было, да и кто на зайцев тратит дробь и порох? Из бала-лаечной струны, а то и просто из тонкой проволоки делались петли и развешивались по лесу на заячьих тропах.

Уже в начале зимы 1941 года у нас дома было голодно, не хватало хлеба, берегли скудные запасы картошки, а сестренке исполнилось двенадцать лет, хотелось устроить ей маленький праздник. Я решил добыть зайца. И хоть этим заниматься мне как-то не приходилось, но теоретически я знал все до тонкости: петли сделал из струны, ставил их в выветренных (то есть полежавших на улице, не пахнувших человеческим жильем)

рукавицах, и места выбрал ходовые, и подвесил надежно, чтоб если даже вскочит матерый самец, то уж, шалишь, не сорвется.

Прилежному — награда. Черным утром, когда снега лишь начинают натужно синеть, а в небе все еще утомленно помаргивают звезды, я спешил по немотному, окоченелому лесу к своим наставникам. И где-то на подходе к ним из мрака, из глубины смерзшегося лесного молчания раздался взрывчатый треск, словно незыблемая чащоба тронулась от толчка, начала валиться. Есть!!

Нас еще разделяла плотная толща величественных, как заснеженные горы, елей, но я уже улавливал на слух — он не похож на обычного зайца, это не робкое, а яростное существо. И набатно колотилось в груди сердце, и безумное нетерпение хищника несло меня сквозь обвалы снега, колючую хвою, жесткие ветки — к жертве, к нему! А он метался впереди в эпилептическом ужасе передо мной.

Мутная просинь, прокрававшаяся сквозь чашу, и среди многоэтажной, фантастической заснеженности подпрыгивала, дергалась голая елочка, словно пыталась выдрать корни из смерзшейся земли и бежать от меня опрометью. А рядом с ней вихрящийся сгусток... Да, сгусток серого предрасветного воздуха в насквозь промороженном лесу.

Наверное, это был именно тот, о каком я и мечтал, — матерый самец. Но разглядеть его я не мог, видел лишь тугое движение — бестелесная сила, мятущаяся страсть, неистовость.

Я стоял, увязнув в глубоком снегу, не смел дышать, колотилось в грудную клетку сердце. Но мало-помалу, как мороз сквозь рукава шубы, стала проникать отрезвляющая мысль: «Он сможет прыгать в петле весь день, даже больше... Бывает, живут и по трое суток. Ты долго собираешься стоять?..»

И продолжал стоять в снегу, не двигался. Мне повезло — попал крупный самец, сильный заяц, у сестренки праздник... Надо его добить, как это делают все. Выломать потяжелей палку и... День рождения сестры завтра. Уж коль затеял, то доводи до конца...

Я выломал ольховый сук, кривой, как рог матерого лося. Я двинулся на рвущуюся от меня жертву. И уже совсем развиднелось, и мятущийся сгусток обрел плоть.

Но даже теперь, отчетливо видный, он мало походил на зайца — не смиренный зверек, а зверь агрессивный, пружинисто-прекрасный. Не зря, оказывается, мне рассказывали: материцы самцы иногда ударом лапы распарывали живот неосторожным охотникам. За свой живот мне можно было не опасаться, до него прежде пришлось бы распороть толстый ватник. Мой кривой ольховый сук не подымался...

Ты жалкая размазня! Кисляй! Даже пойманного зайца взять не можешь! Зачем было тогда ставить петлю! Ну! Бей! Так делают все!.. В голодном доме должен быть праздник!..

Я шагнул вперед, вплотную к трепещущей елочке, но мой кривой сук не подымался. И тогда я нагнулся, освободил из-под елочки держалку, переломил ее. В лесу раздался тонкий, как всхлип, звук: то ринувшийся от меня беляк задел концом струны за ветку...

А каких-нибудь восемь месяцев спустя я убил человека. К убийству я был причастен и раньше, корректировал с НП огонь своей батареи, направлял тяжелые снаряды на окопы противника и радовался, когда над ними вспухали взрывы, знал — там остаются лежать трупы.

Ночью пешая разведка запоролась в траншею противника, ей на помощь подняли две роты, и неожиданно для себя наши вышибли немца с высоты, продвинулись вперед. А значит, и нам, артиллерийским наблюдателям, надо было искать новый НП.

Пехота еще не начала окапываться, толкались в отбитых траншеях, нас же манила гривка кустов по самому гребню — укрыться можно и обзор хорош. По росной травке я полз с автоматом следом за младшим лейтенантом Горбиной, командиром нашего взвода управления, за мной тащился телефонист с катушкой.

Кусты были не слишком густы и не слишком высоки — Горбина прилег, стал выпрастывать из-под себя бинокль, телефонист приткнулся шагах в пяти, облокотясь на катушку. И тут в стороне из кустов вырвался человек, ринулся вниз по склону — всклокоченная волосня, непривычная глазу зелень мундира. Немец! Автомат сам взметнулся и забился в моих руках. Я не целился, лупил наобум, но удиравший споткнулся, с усилием встал, сделал шаг, упал ничком.

— Похоже, достал, — удивился Горбина и припал

к биноклю.— Лежит куманек. Полюбоваться хочешь?

— Дай,— сказал я, чувствуя, как недоумение сменяется хмельком удачи.

В бинокль хорошо были видны густо подбитые блестящими гвоздями подметки немецких сапог, а дальше за короткими голенищами — невнятная смятость солдатской одежды. Ни жалости, ни раскаянья я не испытывал, а гордость — пожалуй. Не странно ли: не мог убить зайца, в жизни не убивал ни курицы, ни даже мыши, а вот человека — со спокойной совестью, без всякой к нему ненависти в ту минуту...

На этой же высоте через три дня младшему лейтенанту Горбине перебило обе ноги, взводом управления батареи стал командовать я — выслеживал противника, а четыре тяжелых орудия расстреливали его. Два с лишним года война была моей профессией.

Во дворе нашего дома идет небойкое строительство — шумливая торговая база наконец-то отделяется от нас глухой стеной. В окно кухни можно наблюдать, как время от времени к куче кирпича в глубине базы выстраивается цепочка, и слева направо, слева направо — ручеек кирпичей, впадающий в ровный, растущий на глазах штабелек. Для этой несложной операции, должно быть, приглашаются все, кто свободен, — грузчики в синих халатах, женщина из проходной, хромой мужик, хлыщеватый юнец, ремонтник в замасленной спецовке, сам рабочий-каменщик, выводящий стену. И как только выстраивались, как только начиналось — слева направо, слева направо, — все они, разноликие, становились похожи друг на друга. Попал в цепочку — сам себе уже не хозяин. Слева направо — норма твоего поведения.

Каждого из нас окружают люди. И эти люди никогда не бывают хаотичной массой, всегда определенным образом выстроены в некий действующий механизм — локально маленький, временный, как цепочка, перебрасывающая кирпичи, или же необъятно великий, непостижимо сложный, который мы привыкли называть словом «общество».

Люди не способны жить неупорядоченно. Никто не посмеет сказать про себя: я независим, сам себе полный хозяин, что хочу, то и ворочу. И меньше всего имели

право на это царствующие особы, они являлись наиболее важной частью сложившихся механизмов, а потому свое личное «хочу» должны были обуздывать больше других. Не сам себе, а принадлежность системы! Механизм крутится соответственно своему устройству — крутись вместе с ним и ты, в рабочей цепочке поворачивайся слева направо, находясь в обществе, участвуя в общественных функциях.

В юности я стал мельчайшей молекулой грандиознейшей гиперобщественной системы — второй мировой войны. По своей природе я никак не был убийцей, ни по природе, ни по воспитанию, пушкинское «и милость к падшим призывал» всегда отзывалось во мне. Но вопреки себе я был вынужден убивать и делал это без содрогания, без каких-либо угрызений совести. Даже гуманнейший из людей — Пушкин, окажись на моем месте, поступал бы так же.

Цепочка перекидывающих кирпичи за окном — слева направо, слева направо... Делают нехитрое полезное дело. Тревожит душу тривиальная мысль...

Если стихийные людские системы способны заставить гуманнейшего убивать, сострадательного совершать жестокости и честно кривить душой, то должно быть принципиально возможно и обратное — некие общественные механизмы, принуждающие жестокосердного проявлять сострадание, эгоиста — творить великодушные поступки. Слева направо, слева направо — против настроенного движения не попрешь. Вся суть в том, куда направить движение механизма.

Из века в век эпизодически предлагались проекты идеальных общественных устройств, при которых должны отсутствовать насилие и вельможное тунеядство, побуждения для зависти и корыстолюбия, необузданная роскошь и унижительная нищета. Платон, Ян Гус, Томас Мор, Кампанелла — сколько таких благородных проектировщиков прошло по земле, не все получили широкую огласку. Скорей всего, и у апостола Павла существовал свой проект, основанный на принципе «если кто не хочет трудиться, тот и не ешь».

И ни один не принят жизнью. Отвергнуты все.

Почему?

Возьмем едва ли не самый известный из таких проектов, взгляды в него и представим, что произошло бы, если б он был осуществлен...

СКАЗАНИЕ ПЯТОЕ

Прощание с градом осиянным

На улице Сент-Оноре экипажи уже обдавали прохожих летней пылью, но за стеной монастыря деревья хранили еще майскую праздничность листвы, кругом лежала влажная тень, было прохладно, было тихо. Из распахнутых дверей хмурого гостиничного дома доносились вкрадчивые звуки лютни. Монахи, бесплотные, как тени, поспешно проплывали, оглядываясь на гостиничные двери, осеняли себя крестом, исчезали...

В своей келье умирал фра Томмазо.

Этот оплывший старик с иссиня-темным, иссеченным лицом, сатанинскими провално черными глазами, с трудом носивший себя, всегда пугал братию. Две самые могущественные силы в мире — испанская монархия и святая служба — держали его за толстыми стенами и тяжелыми запорами, страшно подумать, тридцать три года! И все это долгое время он боролся с ними в одиночку. И победил — сквозь стены и замки вырвался на волю, околдовал самого папу Урбана, наконец, появился в Париже.

Первый министр Ришелье обласкал его, сам король милостиво назначил ему пенсию. В благодарность фра Томмазо пообещал королю, чего тот больше всего желал и уже отчаялся получить — наследника. Случилось чудо: Анна Австрийская, остававшаяся бездетной все двадцать два года замужества, в прошлом году разродилась мальчиком. Фра Томмазо по расположению звезд предсказал — новый Людовик будет царствовать долго и счастливо.

Монастырская братия сторонилась страшного старика, шепталась по углам о его нечеловеческой сущности.

Сейчас он умирал под нежную светскую музыку, не под святые песнопения. И он загодя знал день своей смерти — 1 июня. В тот день, обещал он, закроется солнце, мрак окутает землю... Ждать недолго, еще двенадцать суток, но уж очень плох, едва ли дотянет...

Он весь раздулся, лицо пошло зелеными пятнами, не мог шевелиться, натужно дышал, но мысль по-прежнему была ясной.

К близости смерти он привык, она постоянно сторожила его и совсем вплотную подходила уже тридцать восемь лет назад, много дней и ночей дежурила над его соломенным матрацем в камере Каstell Нуово. Святая инквизиция применяла в своих застенках множество пыток — от простой дыбы, выворачивающей суставы, до изобретательного станка полледро — жеребенка. Но самой страшной была знаменитая велья — человека в течение сорока часов постепенно насаживали на заостренный кол, который медленно входил в тело, рвал внутренности. Фра Томмазо просидел на острие кола тридцать четыре часа — день, ночь еще день — и... выдержал. Не выдержали палачи — сдались.

Он потерял много крови, началось воспаление, жар, тюремный хирург Шипионе Камарделла ждал гангрены — тогда уж спасения нет. Фра Томмазо захлестнула тревога — умрет, не сказав главного... О городе, который ему открылся, о городе, никому не ведомом, где нет несчастных, счастливы все! Не успел поведать исстрадавшимся, изверившимся людям — даже смерть не искупит такую оплошность.

В полубреду, не смеющий шевельнуться, чтоб не потревожить разорванные внутренности, он в очередной раз шел к своему заветному городу. Он издали видел его белые, одна над другой возвышающиеся стены, плавающий на солнце купол — двойной, большой венчается малым. А перед городом зеленые поля и цветущие сады, в них с песнями работает народ в одинаковой одежде, с одинаково веселыми лицами. Население города работает все, только старость и болезнь освобождают от труда. И здесь нет ни своих полей, ни чужих — общие...

Окованные железом городские ворота подняты — входи каждый, кто несет в себе добрые чувства. Они опускаются только перед врагом, и тогда — семь стен, одна выше другой, неприступны.

Внутри эти стены расписаны превосходной живописью — геометрические фигуры и карты разных земель, алфавиты стран и виды деревьев, трав, животных, минералов, портреты великих людей и орудия труда... Вдоль красочных стен ходят группами дети в сопровождении ученых старцев. Весь город — школа, дети, глядя на стены, играючи постигают науки. Невежественных в городе нет.

По мраморным лестницам, по крытым галереям, пересекая улицы, гость подымается к широкой центральной площади, к величественному круглому храму. Внутри он просторен и прохладен, освещен светом, падающим из отверстия купола. В алтаре два глобуса — неба и Земли. И семь золотых лампад, знаменующих собой семь планет, освещают плитчатый пол редкостного камня.

Гостя выходят встречать правители города. Впереди старший, он же высший священник,— Сол, то есть Солнце. За ним три его помощника — Пон, Син и Мор, или иначе — Мощь, Мудрость и Любовь.

— Приветствуем того, кто узрел нас сквозь тщету и жестокость суетной жизни!

Сол не завоевал себе свое высокое место, не получил его по наследству. Избран народом?.. Да нет, не совсем... Звание Сола может получить лишь тот, кто окажется настолько учен, что будет знать все. Он сам собой должен выделиться среди прочих своей непомерной мудростью. «Пусть он даже будет совершенно неопытен в деле управления государством, никогда, однако, не будет ни жестоким, ни преступником, ни тираном именно потому, что столь мудр»,— считают граждане города.

Три его соправителя необязательно всеведущи, а осведомлены лишь в тех науках, какие им помогают управлять назначенными делами. Мощь — воинскими, защитой города. Мудрость — обучением. Любовь наблюдает за деторождением. В счастливом городе все общее — и жены тоже. Какому мужчине с какой женщиной сходитьсь, у них не решается по желанию, это вопрос государственной важности. Здесь издеваются над тем, что в других странах, заботясь усердно об улучшении пород собак и лошадей, пренебрегают породой человеческой. «Женщины статные и красивые соединяются только со статными и крепкими мужами; полные же — с худыми, а худые — с полными, дабы они хорошо и с пользой уравновешивали друг друга».

Изуродованный пыткой, валяясь в душном каземате на грязном, жестком матраце, Томмазо Кампанелла, ученый монах-доминиканец, уличаемый в ереси и бунте, на грани бреда и сознания пребывал в счастливом Городе Солнца, вел тихую беседу под прохладными

сводами храма о любви и всеобщем благе с мудрыми правителями.

И одновременно он страдал — нет, не от мучений плоти, а от жестоких мук совести: не успел никому поведать! Люди должны знать, как выглядит их всеобщее счастье, они должны разрушить свои греховные грады и построить грады новые.

Страдания совести и несокрушимое здоровье тогда победили смерть — гангрены не случилось. Он заставил свои затекшие, изувеченные руки держать перо, пользуясь тем, что за больным не слишком строго следили, описал свой Город Солнца. Подвиг, едва ли еще повторенный в истории.

А сейчас, изгнанный с родины, переживший застенки, вынесший пытки, вопреки всему переваливший за седьмой десяток, фра Томмазо знал: на этот раз уже не выживет, — сам себе назначил день, в который его смерть, как высчитал он, ознаменуется солнечным затмением. Его верный ученик Филиппо Борелли, сын испанского тюремного солдата, родившийся в той самой проклятой Кастель Нуово, где долго страдал Кампанелла, нанял на последние деньги музыкантов, чтоб учителю было не столь тяжело умирать.

Нежно пела лютия, и с хрипом дышал фра Томмазо. Этот неистовый человек, удивлявший всех умом, трезвым расчетом, хитростью, сатанинской изворотливостью, благодаря чему победивший испанский суд, Святую инквизицию, недоверчивого, отнюдь не глупого папу, был простодушно наивен, когда возникали надежды.

В последнее время он горячо верил... в младенца. В того, что лежал сейчас в роскошных покоях королевского дворца, окруженный в своей колыбели вельможными няньками, охраняемый бравыми королевскими мушкетерами. Томмазо Кампанелла надеялся — этот будущий правитель Франции непременно вспомнит, что он, фра Томмазо, предсказал по звездам и его появление на свет, и его удачливое долгое правление. Вспомнит предсказателя — и прочтет его «Город Солнца» и возжаждет построить свое государство по вымечтанному образцу. Да будет счастлива Франция, если ему, Кампанелле, не удалось сделать счастливой свою родину!

Удивительно, но почти все сбывалось по его предсказаниям. Высокородный младенец не успевает подрасти и в самом нежном возрасте становится королем Людовиком XIV. Его правление оказывается редкостно долгим и счастливым тож. Для него, Людовика XIV, счастливым, ни для кого боле. И не сбывается только самое главное — счастливейший монарх ни разу не вспомнил об опальном провидце-монахе, книг его никогда не читал и всю жизнь поступал вопреки тому, что советовал Кампанелла. Ему приписывают спесивую фразу: «Государство — это я!» И словно в насмешку над автором «Города Солнца» придворные льстецы величают спесивого владыку: «Король Солнце». История щедра на издевки.

Нежно пела лютня, и хрипло дышал фра Томмазо. Даже верный Филиппо Борелли не догадывался, что его задыхающийся учитель отправился сейчас в свое последнее путешествие, в исхоженный, знакомый, более родной, чем родина, более дорогой, чем собственная мученическая и героическая жизнь, Город Солнца.

Снова он видит средь спеченной равнины под глубоким небом зеленый холм, семистенный белоснежный город на нем, венчанный двойным храмовым куполом. Он спешит к нему, спешит, так как времени осталось в обрез — намеченный путь может оборваться в любую секунду.

Знакомый путь в счастливый город — через тучные поля, через цветущие сады, через красочное обилие и улыбки работающего народа. Но нынче почему-то пусто кругом, никто не встречает его улыбками. И поля вытоптаны и заброшены, сплошь в лебеде, и сады не цветут, не плодоносят, затянуты колючим кустарником, торчат в стороны засохшие ветви.

Мост ведет к городским воротам. Ворота подняты, но никто не входит и не выходит из них. Печально звучат на мосту шаги одинокого гостя.

За воротами стража, раньше ее не было. У солдат дикой шерстью заросшие лица, сквозь шерсть видно: чему-то дивятся, словно не человека видят, привидение.

— Кто таков?

— Я Кампанелла. Тот самый, кто издали прозрел этот город.

Переглянулись, хмыкнули:

— Кой бес тебя гонит к нам?

— Пришел проститься... В последний раз.

— Раз пришел — иди, а проститься — шалишь! Пускать сюда дозволено, а выйти — нет.

И толкнули в спину, чтоб не вздумал, чего доброго, попятиться.

Не успел даже оскорбиться, как бросилось в глаза... Казалось бы, пустое, не стоит внимания — просто трава густо пробилась сквозь камень на мостовой. Но такое, знал Кампанелла, бывает, когда по городу проходит чума или моровая язва!

Пришибленный, растерянный стоял он посреди заросшей пустынной мостовой и озирался. Взгляд упал на городскую стену, и фра Томмазо вздрогнул... На стене знакомая ученая роспись — геометрические фигуры — облезла и потрескалась. А поперек нее — истлевший повешенный, лицо черно и безглазо, рваное тряпье не прикрывает темное мясо, и тянет смрадным запахом. Вверху же на выступающей балке, к которой привязана веревка, сидит важный ворон, лениво косит агатовым глазом на пришельца — сыт, мрачная bestия, перо жирно лоснится.

Никогда и ни перед чем не отступал Томмазо Кампанелла, и сейчас он двинулся в глубь города: не все же в нем повымерли, кто-то наверняка остался, встречу — распрошу о беде...

И верно: на пустых улицах раза три промаячили люди в черном (а прежде считалось — «черный цвет ненавистен соляриям»), они жались к стенам домов, исчезали при приближении, словно проваливались сквозь землю.

За четвертой стеной на мраморной лестнице он увидел нищих. Нищие в Городе Солнца!

Во всем мире эти людские изгои схожи друг с другом — нечистые рубища, уродливые лица, выставленные напоказ гнойные язвы, култышки ног, скрюченные руки, протянутые за подаванием, гнусавые голоса. Нищие в Городе Солнца!..

Кампанелла знал: таким терять нечего, они только прикидываются робкими и забитыми, на самом деле — самый дерзкий народ. И действительно, нищие не отказались говорить с ним.

— Откуда ты взял, пришелец, что в нашем благос-

ловенном городе стряслась беда? — просипел один с красными вывернутыми веками и белыми, как снятое молоко, глазами.— Мы радуемся жизни, славим бога за это. Разве ты не видишь?

— Я видел, как ты протягиваешь ко мне за подаванием руку.

— Выполняю приказ наших мудрейших из мудрых правителей счастливого города.

— Они приказали тебе просить милостыню?

— Они приказали мне радоваться. А чтоб радоваться жизни, я должен есть. Порадуй меня из своего кошелька, иначе доложу, что ты помешал мне исполнить приказ.

— И все радуются так, как ты?

— Все. Нерадостных в нашем городе нет.

— И все по приказу?

— А разве можно делать что-либо без приказа?

Горбун с утопленной в плечах пыльной, нечесаной головой хихикнул:

— Ясноглазый ошибся, в нашем городе нерадостные есть.

По нищей братии прошло шевеление. Ясноглазый смигнул воспаленными веками, сердито сказал:

— Ты всегда плохо шутишь, Прямая Спина.

— Хи-хи! Они есть, они висят по стенам, украшают наш город. Мы глядим на них и еще больше радуемся. Или это неправда, Ясноглазик?

— Но прежде вы радовались без приказа,— напомнил Кампанелла.

— Никогда этого не было! Ты лжешь, странник!

— Я знаю. У вас что-то случилось. Что-то страшное. Прошла чума? Власть захватил тиран? Что?..

И Ясноглазый закрутился, визгливо закричал:

— Вы слышали?! Вы слышали?.. Это сказал не я! Это сказал он! Вы все это подтвердите!

А Прямая Спина довольно хихикнул:

— Мы слышали, Ясноглазик, все хорошо слышали, к чему ты вел разговор с чужеземцем. Тебе хотелось, чтобы он сказал то, чего тебе не дозволено. Висеть тебе, Ясноглазый, на стене. Хи-хи! И тебе, чужеземец, тоже.

Кампанелла презрительно бросил:

— Что мне может грозить в моем городе? Я разужнаю, что с вами стряслось, и верну все как было. Вы снова станете радоваться не по приказу.

Переступая через костыли, через целые и обрубленные ноги, он двинулся вверх по лестнице. А вслед ему хихикал горбун:

— Не успеешь! Хи-хи!.. Не успеешь! Ясноглазик обернется быстрее тебя.

Каким образом обернется Ясноглазик, Кампанелле в общем-то было ясно. Он сам в свое время определил, что все увечные в счастливом Городе Солнца не должны бездельничать, никакой телесный недостаток не повод для праздности. «Ежели,— убеждал он,— кто-нибудь владеет всего одним каким-нибудь членом, то он работает с помощью его хотя бы в деревне, получает хорошее содержание и служит соглядатаем, донося государству обо всем, что услышит». Здесь все с телесными недостатками — безногие, безрукие, слепые, горбатые,— должно быть, все пристроились доносчиками: работа не тяжелая, был бы только спрос на нее. А спрос, похоже, есть, и большой, если государство вешает своих граждан за нерадостное настроение.

Кампанелла спешил к храму, чтобы встретиться с правителями.

У входа на Храмовую площадь его ждали солдаты с мушкетами и алебардами, капитан в начищенной кирасе восседал на коне.

— Взять!

— Я Томмазо Кампанелла — создатель вашего города!

— Тебя-то нам и надо!

Подвал, куда повели его, был, должно быть, столь же глубок, как знаменитая «Крокодиля яма» в Кастель Нуово, витой каменной лестнице не было конца.

С силой втокнули в низкую дверь, в затхлый мрак.

— Вались! Встретишь старого знакомого...

Он упал на скользкий каменный пол.

В темноте зашуршала солома и раздался то ли всхлип, то ли смешок. Кампанелла сел.

— Кто ты, друг? — спросил он.

Смешок в ответ. Теперь уже явственно — не всхлип.

— Я Кампанелла. Я породил этот город, а меня схватили в нем как врага.

Снова торжествующий тихий смех и шуршание соломы.

— Ах да,— рассердился Кампанелла,— здесь теперь радуются по приказу. Тебе-то что за нужда, несчастный, в этой яме исполнять подлейший приказ?

Придушенный ликующий голос:

— Не по приказу веселюсь — от души.

— Тогда уж совсем гнусно — жертва зла радуется злу.

— Справедливости радуюсь, Кампанелла. Справедливости! Она свершилась!

— Впервые слышу, чтоб тюремщики совершали справедливость.

— Бог не очень разборчив, Кампанелла. Он творит свое руками и тюремщиков и героев.

Спрессованная подземная темнота, за толщей земли не слышно мира, слышно дыхание собрата по несчастью и недоброжелателя.

— Кто ты, чудовище? — спросил Кампанелла.— Жаль, что не могу видеть тебя.

— Действительно жаль... Я не чудовище, я жалок, Кампанелла,— лысый череп, свалывшаяся борода, беззубый рот, лохмотья не прикрывают уже тот скелет, который все еще приходится считать своим телом. И у меня переломаны обе ноги... Жаль, что не можешь увидеть, ты бы сравнил с тем, каким я был.

— Значит, верно... Ты мой старый знакомый?!

Смешок, смахивающий на всхлип:

— Я — Сол, верховный правитель Города Солнца. Сейчас я счастлив — создатель вместе со мной. Ты чувствуешь, как на нас давит наш город? Мы на дне его.

Спрессованный мрак, спрессованная тишина, где-то далеко над ними гора камня в виде вознесенной к небу башни. Погребены под тем, что усердно создавали.

— Сол...— срывающийся тихий голос.— Что?.. Чума? Злобный враг?.. Какое несчастье?

— Заблуждения порой страшней чумы, создатель.

— Ты совершил роковую ошибку, мудрый Сол?

— Ха-ха! Я?.. Нет, почтенный фра Томмазо, ошибался ты.

— В чем?

Торжествующий ответ:

— Грешил простотой!

— Разве это такой уж большой грех, Сол?

— Простота хуже воровства, хуже разбоя. Просто-

та — недомыслие, Кампанелла. Если недомыслие начинается руководить людьми, то люди становятся сами себе врагами.

И Кампанелла рассердился:

— Хватит словоблудствовать, Сол!

— Что ж...— Сол замолчал.

Тишина каменного склепа. Она столь монолитна, что кажется: время бессильно пробиться сквозь нее, останавливается где-то рядом. Ничто уже не может продвнуться вперед, все застывает, и умолкнувший голос никогда не возобновится, жди, жди его до скончания — не дождешься. Но Кампанелла не проявил нетерпеливости, не подхлестнул невидимого собеседника. За тридцать три года в темницах он научился терпению.

И Сол заговорил из темноты:

— «Все, в чем они нуждаются, они получают от общины...» Твои слова, Томмазо, о нас. Ты предлагал именно так и жить: сообща работать, складывать все в один общий котел, из него сообща черпать.

— Разве это не верно, Сол?

— «Все, в чем они нуждаются...» Н-да-а... А в чем?.. Скажи про себя: что тебе нужно для жизни?

— Я никогда не желал иметь многого — хлеб, вино, свечи для работы по вечерам, бумага, чтоб писать, ну и самая скромная одежда, чтоб прикрыть наготу.

— И книги...

— И книги, конечно.

— И у тебя еще собрана небольшая коллекция старинных монет. Ты о ней почему-то не упомянул. Так ли уж она необходима для жизни?

— Единственное, чем я тешил себя в часы отдыха.

— И тебя в последнее время не носят больные ноги. Хотел бы ты иметь экипаж? Как бы, наверное, он облегчил твою жизнь...

Кампанелла промолчал.

— Вот видишь,— тихо продолжал Сол,— даже ты про себя не скажешь точно, что тебе нужно, где твой рубеж желаний. А почему другие должны себя ограничивать? Наверное, лишь мертвый перестает желать себе большего.

— На этот счет, если помнишь, я говорил: «И должностные лица тщательно следят, чтобы никто не получал больше, чем следует».

— Кому сколько следует?.. Как это определить?

Кампанелла решительно ответил:

— Только уравнивая аппетиты, Сол. До необходимого! Простая, здоровая пища, добротная, но не роскошная одежда, крыша над головой...

— Мы так и поступили, Томмазо. Установили давать всем только самое необходимое. Конечно, уж никаких ценных коллекций иметь не полагалось...

— Это справедливо, Сол.

— Нет, Томмазо, это оказалось ужасной несправедливостью. С нее-то и началась та чума, которая погубила город.

И Кампанелла тяжело колыхнулся в темноте.

— Не верю, Сол! Какая же несправедливость, когда все у всех одинаково, нет повода кому-то завидовать, на что-то обижаться.

— Увы, повод есть — и серьезный.

— Только у ненасытно жадных, Сол, у отпетых негодяев!

— Наоборот, Томмазо, у самых достойных граждан, у тех, кто способен лучше других, самоотверженнее других трудиться.

— Ты смеешься надо мной, Сол!

— До смеха ли мне, когда сижу здесь. Вдумайся, Томмазо: способный труженик, не жалеющий себя на работе, дает общине много, а рядом с ним другой по неумелости или по лени еле-еле пошевеливается, от него мало пользы. Но получали-то они одинаково необходимое — пищу, одежду, крышу над головой. Поставь себя на место добросовестного гражданина, надрывающегося на работе. Как ему не задуматься: я добываю, а за мой счет живет бездельник. И справедливо ли это, Томмазо?

Томмазо озадаченно промолчал.

— И вот наши лучшие труженики перестали надрываться, начали подравниваться под тех, кто работал из рук вон плохо. День за днем незаметно падало уважение к труду. Наши поля и виноградники стали дурно обрабатываться, мы все меньше и меньше получали хлеба и вина, наши стада хирели, наши ткацкие мастерские выпускали недобротную ткань, и ее не хватало на одежду. В наш город пришла нищета. Мы уже не могли ни накормить людей, ни одеть, ни отремонтировать их жилища. Город превратился в сборище бездельников.

Кампанелла взорвался:

— Нерадивых следовало бы наказывать, а усердных поощрять! Должны же вовремя сообразить.

— Ты наивен, Томмазо Кампанелла. Тебе все кажется простым и легким, — бесстрастно возразил из темноты Сол. — Подскажи: как отличить нерадивого от усердного? Кто это должен делать? Надсмотрщик с плетью? Пусть он следит и подгоняет? Пусть он распределяет, кому за работу пожирней кусок, а кому наказание? Чем тогда этот надсмотрщик лучше хозяина? Можно ли после этого говорить: у нас все общее?

— Надо было сделать так, чтоб каждый следил за своим товарищем, сообщал выбранному лицу, сколько его сосед сделал. Сделал мало — хлеб и вода, не слишком много — не слишком хороший обед, много — ешь досыта. Проще простого!

— Очень просто, Томмазо. И мы тоже, как и ты, клюнули на эту простоту... Следи за своим товарищем по работе! Доноси на него! Я уж не говорю, что все стали работать плохо, — на каждого можно было донести, испортить ему существование. Но теперь еще для каждого гражданина Города Солнца товарищ по труду становился врагом, которого надо уличить раньше, чем он уличит тебя. Спешి оболгать, иначе оболжет он, постарайся запугать, не то сам станешь жить в страхе перед ним. Мы превратили наш город в кипящую ненавистью клоаку, но не получили взамен ничего. Из того, что нам доносили, нельзя было понять, где наглая и бесстыдная ложь, а где правда, где злостные наветы, а где возмущение честного труженика. Лгали чаще на тех, кто старательно работал, своим трудом мог подвести бездельников, а потому нам чаще приходилось наказывать достойнейших людей. Мы добились, что их совсем не стало. Ужасающая нищета, ненависть и ложь!.. Чума набирала силу, благородный Томмазо. И виной тому был слишком простой взгляд на жизнь.

Сол умолк. Вновь спрессованная подземная тишина. Кампанелла сквозь толщу земли ощущал тяжесть раскинувшегося наверху города, где на мостовых растет трава, а по расписанным стенам висят казненные.

Шуршание соломы, вздох со стороны Сола.

— Ну так вот... — его тихий голос.

И Кампанелла закричал:

— Хватит! Не хо-чу! Еще слово — и я придушу тебя!

— Меня, мудрый Томмазо? Почему не себя?

Крик Кампанеллы захлебнулся, он застонал:

— Прокляни, разбей мне голову, но не рассказывай, не рассказывай больше!

— Ого! Железный Кампанелла сдал. Правда, выходит, страшной вельи...

— Умоляю, Сол...

— Нет, Томмазо, не жди от меня пощады. Ты должен знать все до конца... Так вот — нищета, ненависть, ложь и впереди никакой надежды, что все это когда-то кончится. Кого не охватит ужас перед будущим, кому захочется дальше жить! А если ужас станет расти... Он рос, Томмазо, он грозно рос! И надо было любым путем прекратить его... Мы не в силах изменить жизнь, но мы научились принуждать. Приказ вызрел сам собой: те граждане, которые поддаются ложному ужасу, а не радуются цветущей жизни, совершают самое тяжкое преступление и подлежат смертной казни через повешенье. Не я придумал этот приказ, но я... Да, Томмазо, как верховный правитель города я обязан был его подписать... Ты слышишь меня?

Ответа не последовало.

— Я подписал его. Ты слышишь?.. Что ж ты не возмущаешься? Что ж не обливаешь меня презрением?

Молчание.

— Подписал потому, что ничего не мог предложить другого. Подписал, но заставить себя радоваться не мог — сверх моих сил. И я молчал. Всех таких молчащих, не восторгающихся, не смеющихся шумно при народе хватали и вешали. А тут молчащий верховный правитель. Ему следовало бы выступать с жизнерадостными речами, призывать к бодрости и всеобщему веселью, а он... он молчит. Сам понимаешь, такого правителя должны убрать...

Кампанелла безмолвствовал. Сол вздохнул.

— Меня не повесили на стене. Нет, не из жалости, не из уважения, не за прошлые заслуги. Просто это могло вызвать у граждан самое удручающее настроение. Висящий на стене верховный правитель. Меня бросили сюда, в самый глубокий подвал города...

Кампанелла не отозвался.

— А твоего прихода мы ждали, Кампанелла. Ждали и боялись. Кто знает, что еще ты натворишь, увидя

нашу жизнь. Мы-то живем по твоему слову, старательно выполняем все, что ты сказал, но теперь ты нам страшен, учитель. Ты можешь объявить, что это не твое, что надо начинать все сначала, все сызнова. Переживать еще раз снова то, что было!.. Нет! Нет! Будь что будет, но только не прежнее. Потому-то наши молодцы и поспешили затолкать тебя в это склеп... Ты слышишь меня?.. Ты жив, Кампанелла?..

Тишина.

Смерть наступила в четыре часа утра 21 мая 1639 года. Над Парижем разливалась застенчивая заря, башня монастыря на улице Сент-Оноре робко румянилась.

ГЛАВА ПЯТАЯ

1

На моем столе Мыслитель из неолита и стопкой тяжелые тома Маркса и Энгельса. Под бесстрастное молчание Мыслителя ищу ответы.

Маркс говорит: «Способ производства материальной жизни обуславливает социальный, политический и духовный процессы жизни вообще». Я без удивления принял знаменитое высказывание еще за школьной партой.

Сейчас запоздало удивился прозрению. Многоликая, путаная жизнь человеческая, собственно, есть непрекращающаяся деятельность — сугубо личная и внутрисемейная, групповая и сословная, народная и международная. Великое разнообразие деятельности учету не поддается, но существует самая главная, основополагающая, в равной степени присущая и отдельным лицам, и общественным объединениям, — деятельность трудовая. Она источник нашего бытия, она кинетическая основа нашего развития, от того, как мы станем трудиться, так будем и жить, обуславливает, утверждает Маркс и добавляет: «Вся... история есть не что иное, как порождение человека человеческим трудом...»

«Кто этого не знает...» Любая истина, коль она признана и общедоступна, становится банальной, в нее уж нет необходимости вникать, стараются не упоминать о

ней лишний раз, досадливо отмахиваются от нее как от назойливой очевидности и в конце концов тихо предают забвению. Многие ли нынешние апологеты нравственности связывают падение нравов со спецификой труда в наш напористый век научно-технической революции? Обуславливает? Да нет, забыли о том.

Павел Кампанелла и иже с ними, кого мы называем утопистами, считали: надо заставить трудиться всех — кто не работает, тот не ест! — и тогда справедливость восторжествует, нравы облагородятся. Какая наивность! — говорим теперь мы со вздохом и красноречиво умолкаем, считая, что этим все сказано.

А вот Маркс и Энгельс на наивность, на личное человеческое недомыслие утопичность проектов таких мыслителей, как Кампанелла и иже с ним, не списывали. Они утверждали: «Значение критически-утопического социализма и коммунизма стоит в обратном отношении и историческому развитию».

Сколько прошло по земле людей глубочайшего ума, поразительной пронизательности, но как только они предлагали конкретно-наглядные картины идеального общества, так оказывалось — историческое развитие не совмещается с ними. И не случайно сам Маркс идиллических картин будущего не рисовал. «Но открывать политические формы этого будущего Маркс не брался», — отмечал в свое время Ленин.

Чтоб разобраться, почему попытки наглядно представить социально справедливое общество оказывались «в обратном отношении к историческому развитию», наверно, следует обратиться все к тому же, что «обуславливает все процессы жизни вообще», — к меняющемуся характеру труда, который образует человека.

Труд невыносим без вложения сил... Мыслитель каменного века торчит перед моими глазами. К его времени человек приобрел уже немалые силы. Приобрел, а не получил — мускулы его не стали крепче, рост выше, плечи шире, зубы острее. Когда-то дикий бык с его природной мощью был для него устрашающ, но вооружился копьем с каменным наконечником и стал сокрушать быка, добывая мясо для себя и детей. Когда-то человек не способен был свалить дерево, но соорудил каменный топор, и деревья стали валиться к его ногам. Создавались силы, небывалые досель в природе, где живое совмещалось с вещью, одухотворенное с неодухотворенным.

Эти новоявленные силы получили название производительных, они росли из поколения в поколение, из века в век.

Они росли, непосильное прежде становилось посильным, человек получал все больше и больше необходимых продуктов. Казалось бы, рано или поздно должно наступить изобилие, а вместе с ним и благоденствие — умеренно трудись, пребывая в полном достатке. Рано или поздно — неуклонно растущие производительные силы тому гарантия. И если даже сородичи Мыслителя не особенно бедствовали — даже находили время лепить скульптурки, — то изобилие должно бы давно уже наступить. Но шло тысячелетие за тысячелетием, производительные силы росли и росли, а заветное изобилие — где оно? Продолжалось ожесточенное насилие над тружеником. Рабочий трудился по 11—14 часов в сутки, получая жалкие гроши: давай, давай, надрывайся, мало, не хватает! Да куда же уходило, в какую прорву?

Считалось, и по сей день считается: пожирает выделенный слой господ-хозяев, им мало, никак не насытятся. Нет, мол, предела жадности человеческой — растут доходы, растут и аппетиты. Я и сам так считал вместе со всеми, а сейчас зреет мнение...

Если предположить, что прожорливость господ растет пропорционально производительности труда, то XIX век должен бы поражать беспрецедентным изощренным сибаритством, иначе как еще можно переварить небывалые по обилию доходы — бифштексами не питаюсь, ем только рагу из соловьиных языков. Однако промышленные и финансовые магнаты, как правило, безрассудным сибаритством не отличались. Более того, выделяясь своим богатством, они, как это ни странно, часто нуждались в средствах, прибегали постоянно к кредитам, к помощи мелких акционеров. Для личных нужд?.. Да нет, чтобы вложить в Дело, чтоб получить еще большие доходы, и опять же не ради траты на личные нужды — для нового еще более доходного дела. Аппетиты их, да, не знали предела, но назвать их только потребительскими вряд ли можно...

Угловатый Мыслитель подпирал мощными руками маленькую деформированную голову, таил свою заморганно древнюю мысль. Его глиняное бесстрастие несокрушимо, а мне вдруг стало жарко, — я, кажется, по-

нял, в какую именно прорву уходил надсадный человеческий труд.

Великое божество пожирало его. В каменный век Мыслителя оно было младенчески незрело, вяло, нетребовательно. Да и взять тогда с людей много нельзя — только-только научились ковырять землю мотыгой. Праправнуки Мыслителя запрягли вола в соху. Человек стал обладать большей производительной силой, так что же — лучше жил, легче жил?.. Как сказать. Силы-то возросли, но возросли заботы и возросли расходы. Прежде выламывал человек в лесу кривой сук — вот тебе и орудие труда, мотыга, выбирай клочок земли поудобней, добывай себе хлеб насущный, никаких затрат. Теперь же мотыгой себя не прокормишь, удобные земли давно все распаханы, остались такие, которые деревянным суком не возьмешь, обзаводись волом и сохой. А чтоб поднять вола, нужно в течение нескольких лет на него работать, отрывать от себя — сам не съешь, а его накорми. Трудности жизни не уменьшились, а возросли, не каждый-то способен их преодолеть, многие не справлялись, оказывались в самом незавидном положении. Парадокс: причина этих трудностей — развитие производительных сил, которые, казалось бы, наоборот, должны облегчить жизнь, повысить благополучие.

Растут производительные силы, растут, но без употребления не остаются, вместе с ними растет и деятельность человека, открываются новые возможности, возникают новые запросы, а в результате — нехватка сил, нехватка средств, стремление их увеличить. Как только увеличение произойдет, все начинается сначала на более высоком уровне, в убыстренном темпе...

Выходит, что во все времена, доисторические и исторические, люди подчинялись одному бескомпромиссному закону — *чем выше производительные силы, тем выше темп развития, их пожирающий.*

Провозвестница машинной эры — примитивная «дженни» — уже заменяла усилия шестнадцати — восемнадцати ткачей. В начале XIX столетия машины распространяются по миру, происходит взрывообразный рост производительных сил, и сразу же набирает бешеный темп развитие человечества: лавинообразно множатся заводы и фабрики, буйно поднимаются города, осуществляются небывало грандиозные замыслы, такие, например, как прокладка трансконтинентальных желез-

нодорожных магистралей. Никогда еще не требовалось столь колоссальных вложений. Движимые паром, поражающие воображение современников машины не способны их покрыть целиком. Недостаточную производительность таких машин приходится компенсировать жестокой эксплуатацией рабочего — не мечтай об отдыхе, вкалывай от зари до зари. Темп развития требует жертв!

Стоит только пожалеть труженика, сократить убийственно непосильный рабочий день, увеличить заработную плату — и... темп затормозится. Сокращай тогда расходы на расширение производства — не строй новые заводы и фабрики, не выпускай машины в нужном количестве, сократи получение необходимых продуктов, а это значит — обнищание общества, чудовищное усиление безработицы, пауперизм, голод, преступность, в конце концов катастрофический развал. С темпом развития шутки плохи...

«Вся история есть не что иное, как порождение человека человеческим трудом...» Но над трудовым человечеством извечное проклятие — оно обречено кормить никогда не насыщающийся Молох. И чем больше человечество вкладывало сил, тем прожорливей становился Молох. Собственно, люди жили для него, для себя оставляли жалкие крохи, чтоб, надрываясь, могли трудиться и трудиться, иначе движение вперед застопорится, жизнь остановится, начнется умирание.

Молох — сверхсущая эманация, не имеет ни лица, ни плоти, его нельзя было уловить несовершенными органами чувств, а потому люди долго не подозревали о его существовании, а значит, и о его фатальной прожорливости. Божество оставалось вне подозрений. Ненасытность Молоха люди приписывали людям. А господа-насилыники, сами того не подозревая, были, оказывается, лишь жрецами незримого Молоха, не всегда сноровистыми, весьма часто по-человечески и бестолковыми и несправедливыми. Молох требовал: мало, не утолен! И жрецы свирепствовали. Как тут не подозревать, что жестокая эксплуатация исходит от них. Тем более что они, жрецы Молоха, все-таки пользовались своим привилегированным положением, рвали от жертвенных кусков, общей нужды не разделяли, в общей лямке не надрывались.

Молоху всегда будет не хватать, всегда услужливые

жрецы станут выжимать последние соки из труженика, останутся эксплуататоры и эксплуатируемые, останется антагонизм, не иссякнет никогда междуособное ненавистничество. Нечего и мечтать о нравственных отношениях. Каждого мечтателя ждет участь Кампанеллы. Не хочется жить...

За окном стороной прошумела ранняя машина.

Ночь прошла. Я встал, выключил лампу, отдернул занавеску. Воздух в комнате призрачно дымчат, но вещи уже обретали вещественность, а Мыслитель на столе утратил одухотворенность — сидит растопыркой нечто отдаленно похожее на человека, чуждое пластике творение еще не совершенных рук.

И опять напористая машина как дальний буревой порыв ветра. Кто-то спешил из одного дня в другой. Он перед порогом, очередной день. Он вырос из дня ушедшего. В нем люди будут есть хлеб, испеченный вчера, переживать беду, вчера случившуюся, исполнять надежды, вчера возникшие. А наше вчера выросло из позавчера, позавчера — из третьего дня... И так далее — тянется пуповина в пережитое, ко временам Мыслителя и дальше, дальше...

Прошлое сидит в нас, оно наша плоть и наш дух, без него нас нет, мы — концентрат прошлого.

Концентрат всего, что выстрадано нашими предками?.. Мы — вместители всечеловечьего несчастья?.. Но ведь этого нет! Рабочий теперь работает по восемь часов в сутки, имеет в неделю два выходных дня, не надрывается и в нищете не прозябает... Молох подобрел к труженику?

Э-э, нет! Не все сразу. Рождался новый всплеск, но я его решительно подавил — надо лечь и постараться уснуть. Продолжение следует, но уже на свежую голову. Посторожи мой сон, недремлющий друг Мыслитель.

2

Проснулся я с подмывающим ощущением — впереди у меня что-то значительное, незавершенное, словно вернулся в молодость, в те годы, когда вдохновенная собственными успехами физика с часу на час ждала завершающих триумфов, а я, в числе многих подающих надежды, самонадеянно тешил себя — вдруг да, чем

черт не шутит... вдруг да я первым — на заветную тропку, ведущую к святым святым, к легендарному Единому Полю! Физика поуспокоилась и до сих пор терпеливо ждет, а мы, подававшие надежды, позастревали где-то на обходных путях... Но какие, однако, были волнующие дни! И сегодня день солнечно ярок, и захлебывающийся детский смех доносится со двора...

Правда, день предстоял суетный, в институте накопились дела, которые я беспечно откладывал на потом. Откладывать дальше уже просто непорядочно, меня и так не особенно перегружали обязанностями — присутствовал на ученых советах, на деловых совещаниях, знакомился с работами молодых коллег, изредка оппонировал на защитах, если даже и продолжить этот список, то все равно окажется — нахожусь в легкой пристяжке. Надрывные усилия, когда я впрягал себя то в одну нерешенную проблему, то в другую, давно миновали. Новое поколение физиков с ухмылочкой оглядывается на меня: чудит профессор Гребин...

Теперь в нашем институте очередное оживление — намечается широковещательный симпозиум, в каких-то отделах дым коромыслом, подбивают бабки, теоретики на этот раз в стороне, но и их не оставляют в покое. Вспомнили и обо мне, наш директор просил сегодня к себе — «конфиденциально, Георгий Петрович, на пару слов».

Солнце ломится в окна, и со двора детский смех... Занятость дня меня не угнетает, напротив — мне нужна разрядка. Окунись с головой в привычные воды, смою с себя наросшие обязанности и обрасту наверняка новыми, хлебу свежей информации, да и встреча с директором весьма любопытна: куда засватает? Директор любит взнуздывать тех лошадок, которые уже не кидаются брать барьеры, они обычно хорошо тянут администраторские постромки. День занят, так отдадимся ему, но вчерашнее назавершенное будет таинственно жить во мне, пронесу, не расплескаю, а уж вечер и ночь мои на пару с терпеливым Мыслителем.

Выбритый, наодеколоненный, в свежей сорочке, при галстукке, я вышел завтракать.

— Доброе утро, Катя. Доброе утро, Сева.

Да, и Сева тут, за столом. Далеко не каждое утро нам удастся встретиться — встаем в разное время, в разное время разбегаемся, он оперативнее меня, я из

числа «сов», люблю полуночничать. Днем Сева домой залетает редко. И я и мать едва ли не с первых дней поняли — сын не собирается прирастать к нам, сейчас живет в стороне, со временем улетит. Жизнь его явно деятельная, но какие в ней заботы, какие радости и огорчения — от нас скрыто. Он приучил нас не волноваться из-за слишком поздних возвращений, иногда звонил: «Срываюсь с товарищем к нему на дачу, там и заночую в тепле и уюте. Прошу не подымать паники. Завтра вечером увидимся». А когда-то мы не верили в самостоятельность нашего сына. Порой мне влезала в голову дикая мысль: «Увидимся ли, если вдруг откроется, что Сева замешан в воровстве или бандитизме?» Каждый раз я оскорблялся сам на себя — такое подумать! — но от этого веры в сына не прибавлялось.

Он вырос среди книг и прежде полосами увлекался литературой, доступной для его возраста. Но после возвращения Сева ни разу не протянул руку к полкам. И когда ему читать? Он не оставался наедине с собой — в деятельности, в общении. Право же, надо быть увлеченным человеком, чтоб вести такую непоседливую жизнь. Но никакие науки его не увлекали, никаких особых пристрастий не замечалось, напротив, мою увлеченность историей он считал безобидной слабостью — у папы хобби. И, наверно, на любого, кто к чему-то равнодушен, он смотрел с превосходством — человек со слабинкой, вот я не таков.

Сева охотно (даже очень охотно!) соглашался — мир не идеален, ненадежен, неустроен и вообще, по его выражению, «лажа кругом», но соглашался без беспокойства, без возмущения. С высоты своих умудренных двадцати трех неполных лет он покровительственно охлаждал меня неунывающим советом: «Не фонтанируй, папа. Береги адреналинчик».

И при всем том у него были свои понятия чести и совести. Нельзя оставаться в долгу, если кто-то тебе услужил, старайся побыстрее услужить ему. Но это правило, похоже, не распространялось на женщин, тем можно и не отвечать услугой за услугу, от их попреков можно отмахнуться, им можно солгать. Одалживаться у родителей он считал для себя унижительным, и хотя поначалу ему приходилось брать у матери на карманные расходы, но делал он это явно со стесненным сердцем, от крайней нужды. Щепетильность для нас удручающая.

Дикие мысли, вызванные у меня таинственностью Севиной жизни вне дома, были не более как абстрактным допущением — невероятно, но в принципе даже и такое возможно. Однако придирчивые наблюдения чем дальше, тем больше доказывали мне обратное. Скорей всего записному моралисту было бы трудно упрекнуть Севу в безнравственности. Он меньше всего думал о десяти заповедях Моисея, но, кажется, выполнял их с безупречностью пуританина, кроме, быть может, одной — «не пожелай жены ближнего своего». Тут бы я не поручился за безгрешность своего сына.

Для нас оставалось загадкой, что произошло у Севы с той женщиной, которая так и не стала его женой. Все наши расспросы он со свойственной теперь неприужденностью решительно пресекал:

— Мама, папа! Это была глупая ошибка. Я теперь поумнел, мои дорогие родители. Такого больше не повторится. Все! Точка!

Мы смущенно молчали, зато нас осаждали по телефону колоратурные голоса:

— Простите, можно позвать Севу?..

— Его нет дома. Что ему передать?

В ответ раздавались короткие гудки.

Сева — наш семейный сфинкс, неразгаданная загадка. Сейчас он, как и я, собранный на выход, в белоснежной рубашке, при галстуке, сидел за столом, встретил меня благожелательным взглядом.

— Привет, папа. Сегодня мы вместе берем старт.

— Как твои дела, сын?

— Двигаются в заданном направлении.

— Значит, работой доволен?

— Будем считать, что работа больше довольна мной.

Он недавно устроился в телеателье. В армии ему приходилось иметь дело с аппаратурой наблюдения, а потому... «Начинка гражданских ящиков, папа, для меня — семечки».

— А в институт радиоэлектроники по-прежнему не тянет?

— Я уже говорил, что в мой генеральный план это не входит.

— И всю жизнь намереваешься просидеть в телеателье?

Сева скорчил привычную гримасу, неизменно озна-

чающую: сколь неизобретательны шаблонные отцовские вопросы.

— Совершив некоторые вариации, папа.

— А именно?

— В шарашкиной конторе, где я бросил якорь, сидят, пригревшись, маленькие бонзы, которые нуждаются в рабсиле. О'кей! Полгода буду на них ишачить, но за это получу клиентуру, стану свободным художником. Года через три моя клиентура разрастется по Москве, принесет мне прочные связи. И тогда... Вот тогда снова вернусь в родную шарагу.

— Зачем? — удивился я.

— Чтоб тоже стать там маленьким бонзой. Маленьким, папа, большим не хочу. Ты же знаешь, у меня скромные запросы.

— Не перестаю удивляться тебе: кто ты — просто циник или всего лишь мелкий проходимец?

— Ни то, ни другое, папа, — трезвый человек, который хочет иметь приличный шалаш в кооперативном доме и «Жигули» цвета «коррида» у подъезда. И учти — ни у кого ничего не вырывая изо рта и никому ничего чтоб не должен. Это, папа, и есть свобода. Иной не представляю.

И в который раз снова вырвался один из вечных, самых неизобретательных моих вопросов:

— Так кто же все-таки научил тебя этой мудрости, сын?!

Знал, что нарвусь, — на столь привычный замах у сына существует отработанный хук.

— Ты, папа. Твой личный пример. — У Севы под чистым лбом опасно ласковый блеск светлых глаз.

Катя, возившаяся у плиты, резко обернулась, шагнула к столу, решительно села — готова защищать меня от сына.

Сева подобрался, но не смутился, начал решительно:

— Человек как гора, вблизи его не разглядишь, надо уехать подальше, чтоб всего как есть увидеть. Я почти три года вглядывался в тебя, папа, издалека... Понял, какой ты умный, не сравнить с другими, каких встречал. Но ты, папа, беспомощнее самых глупых. Дураки вовсе не беспомощны, они не мудрствуют, они действуют. Что, например, стоит дурному отцу справиться с непослушным сыном — выпорот раз, выпорот два, сын ста-

нет таким, как надо. А вот вы с мамой меня изменить не сумели. Побились-побились да отступили — пусть идет в армию, авось там изменят... Другие люди, не такие умные, никак не профессора... И что ж, можно считать, у них получилось — изменился, как видите. Только, папа, пожалуйста, не обижайся, от твоего неумения я любить тебя меньше не стал, даже теперь больше люблю...

— Не извиняйся,— сказал я.— Спасибо за то, что наконец-то заговорил откровенно.

— Я же не из скрытности молчал. Да если б я полез к вам с такой откровенностью, что б получилось?.. Получилось бы, что вас виню, себя несчастеньким выставляю. А я вовсе не несчастенький и вам благодарен — не держали возле себя, в мир выпустили... Но вот могу ли я теперь жить по твоему образцу, папа? И по твоим советам... Ты мне постоянно повторял и теперь повторяешь: не стремись подлаживаться, стремись влиять на жизнь! Вдумайся, папа: что получится, если каждый — да, каждый — станет стремиться влиять на жизнь? Сколько людей есть — и все влияют. Все, умные и недоумки, честные и прохвосты, каждый на свой лад — влияет! Да жизнь и так запутана больше некуда, а тогда и совсем каша перемешанная получится, сам господь бог ее не расхлебает. Иль я не прав, папа?

И я согласился:

— Ты прав... Если каждый в одиночку... Да-а, если друг с другом не сообразуясь влиять, то каша...

— Не сообразуясь?! — с горечью удивился Сева.— Неужто, папа, ты веришь, что люди могут сообразоваться?.. Да они всегда будут тянуть — каждый к себе. И всегда отнимать друг у друга, и всегда друг друга за горло хватать — отдай, мое!

— Удивительно, как еще они не передушили друг друга... А?!. Давно бы пора.

— Отвечу, отвечу, к этому и веду!.. Не передушили потому только, что приспособлялись. Да, к жизни! Да, друг к дружке! При-спо-саб-ливались!.. Ах, слово дурное! Ах, стыдно слышать такое!.. Но почему, папа? Почему, мама?.. Заяц должен приспособляться, а человеку не положено. О приспособляемости зайца даже природа заботится — линять научила, обрастай к зиме белой шерсткой, к лету серой,— а люди не смей, запрещено?! Кем?.. Да теми же людьми. Запрещать-то запре-

щают, но каждый по-своему приспосабливается, только не признается в том... Ну так вот, папа-мама, ваш сын приспособленец и ничуть этого не стесняется. Приспособленец — да, но не захребетник и не насильник, из горла ни у кого не рву. Живи и жить давай другим — считаю, святей лозунга быть не может... Вот все как на духу.

Сева, розовый от возбуждения, умолк, вызываяще в нас вглядываясь.

Я молчал, молча клонила к столу лицо Катя, ей так и не удалось встать на мою защиту. И сам я защитить себя не сумел. Не так-то просто доказать очевидное: что естественно для зайца, противоестественно для человека. Любой спор сейчас выльется в путаные пререкания. Я молчал.

Сева, видать, строил свою систему не один год, ею защищался и ею гордился, сейчас тихо торжествовал победу — сработала, оглушила. Он вежливо выждал, явно жаждавшая возражений, их не было, тогда решительно поднялся, стянув со спинки стула свой пиджак, не спеша надел его, расправил плечи — легкая ткань пиджака плавно облегает талию, статен, ясноглаз, счастлив своей нерастраченной молодостью, своей неуступчивой самостоятельностью, снисходителен к нам, пропитанным пылью ветхих мнений.

— Ключ у меня, так что не беспокойтесь, если задержусь.

Он явно чувствовал спиной мой провожающий взгляд, взгляд этот смущал его, поигрывал лопатками эдакое безмятежное «ты ушла, и твои плечики»...

Катя подняла голову — над переносьем резкая морщинка, глаза темны, скользят мимо. Я не выдержал ее молчания, заговорил:

— А может, он и прав. Что еще делать как не приспособабливаться, если на большее не способен?

Ответила не сразу.

— Я думаю... — голос глух, — не разменять ли нам нашу квартиру на двухкомнатную и однокомнатную?..

Я растерялся:

— Не глупи...

— Пусть это будет нашим последним родительским взносом.

— Хочешь, чтоб уже сейчас?..

— Мы сейчас, Георгий, живем с ним на разных этажах. Ну так будем жить в разных районах.

Она всю себя отдала сыну — единственное в ее жизни. И — «в разных районах», подальше! Ну и ну...

Телефонный звонок спас меня от ответа.

— Это Алевтина говорит... Алевтина Ивановна, дочь Ивана Трофимовича. Я хочу, чтоб вы сегодня пришли к нам. Очень нужно. Где-то в полпятого, не позже...

— Что случилось, Аля?

— Нелепое, Георгий Петрович, не хочу объяснять...

День по-прежнему ярок и горяч, но он уже не радовал меня. Подмывающее ощущение — значительное впереди — выгорело, остался лишь след его, пепел. Но день только начинается, нужно пройти его до конца...

Как это так получается, что я постоянно оказываюсь безоружным перед сыном?!

3

Кто-то из наших институтских острословов сказал: «Теоретик — это гусь в журавлиной стае, летит вместе, но держится наособицу». Четверть века я лечу с институтом, сжился с косяком физиков-экспериментаторов, одна цель, один маршрут, без них истощился бы, сгинул безвестно, меня всегда считали своим, но предоставляли летать как хочу — гусь по-журавлиному не может. Сегодня после разговора с Севой наплыло тоскливое одиночество — все дружно летят дальше, а меня уносит в сторону.

Я ходил по этажам, встречался с нужными людьми, вел с ними не очень нужные разговоры, решал несложные вопросы, без которых одинаково легко могли обойтись как институт, так и я сам. И всюду я чувствовал: вклиниваюсь не ко времени, в эту минуту не до меня, но мной занимались доброжелательно и... на скорую руку.

Однако директор-то меня хочет видеть навряд ли просто так, скуки ради, зачем-то я ему нужен. Зачем?.. Острое желание убедиться: чего-то еще ждут от тебя, — породило нетерпение. Но директора срочно вызвали, должен вернуться с минуты на минуту. Минуты шли, день

перевалил за половину, а я еще обещал дочери Ивана Трофимовича... Со стариком что-то стряслось.

Возвращение директора я проглядел, кто-то более проворный проскочил раньше, пришлось переждать...

Наш директор любил повторять: «Только та кошка, которая сама по себе ходит по нашей теоретической крыше, способна ловить мышей». Он добился славы и высоких званий не столько личными подвигами в науке, сколько организаторским умением — безошибочно угадывал таланты, делал на них рискованные ставки, напористо выбивал средства, проявлял оборотистость, если средств не хватало. Наука теперь становится индустрией, и организаторские способности приносят едва ли не больше, чем счастливые озарения гениев. Экспериментаторами директор умело правил, теоретиков лишь изредка ласкал, чтоб не дичали, не забывали хозяина, и ненавязчиво следил — каких мышей носят. Моя добычливость резко снизилась, и он, конечно, уж это заметил...

Директор из-за стола вышел мне навстречу, прям, подтянут, седые волосы, моложавое, чуть тронутое невыдающим загаром лицо, глаза в лучистых морщинках. В свои шестьдесят с хвостиком он все еще отменный горнолыжник, отпуск проводит на Чегете, бьет на скоростных спусках не только молодых физиков, но и лавинщиков с горной станции.

— А ну, повернись-ка, сынку!.. Редкий же вы гость у меня, Георгий Петрович.

— Ненадоедливость подчиненного — его капитал перед начальством.

Вежливая пикировка входила в ритуал наших встреч.

Мы уселись в стороне от директорского кресла, за круглый столик, а это означало — я не сразу узнаю о цели вызова, разговор будет блуждать вокруг да около.

— Как живете, Георгий Петрович?

— Не обременяя себя заботами, Константин Николаевич.

— Ой ли?..

Ага, от меня ждут первого шага, и я его сделал:

— Вам что-то хочется узнать, Константин Николаевич. Спрашивайте, не стесняйтесь.

Директор рассмеялся:

— Люблю дипломатов... Может, за меня и вопрос произнесете?

— Хотите знать, что за тайные совещания я провожу в своей келье?

— Вы телепат, Георгий Петрович.

— Должен сразу покаяться: они не имеют отношения к физике.

— Ну, это-то я знаю. Имей они отношение к физике, на мой стол легла бы бумажка с неоригинальной просьбой: отпусти денег.

— Ну так, не кичась своим бескорытием, сразу раскроюсь: не занимаюсь ни горным спортом, ни альпинизмом, ни станковой живописью, ни игрой на флейте...

— Вы хотите сказать, что наконец-то выбрали себе увлечение?

— И прошу к этому отнестись снисходительно.

Иронические складки в углах тонкого рта, прищур в упор.

— Ай-ай, дорогой Георгий Петрович! Пытаетесь провести на мякине старого воробья.

— Считаю подозрения безосновательными.

— Видите ли, в нашем возрасте, Георгий Петрович, хобби — это самоуглубленность, это самоутешение, это интимное занятие, а вы собрали вокруг себя маленький каганат...

— А разве вы на горнолыжные вылазки не ездите компанией?

— Одно дело — компанейская поездка в горы, другое — многомесячный труд в тесной келье. Труд, насколько мне известно, не освященный бухгалтерскими сметами, труд на энтузиазме! И вы хотите убедить меня — он спаян досужим увлечением? Нет, Георгий Петрович, не поверю! Должны быть зажигательные замыслы, высокие идеи... Ах, они не относятся к физике, ну так тем мне любопытней. И не понимаю вашей девичьей стеснительности — сколько серьезных физиков ушло в биологию... И в геологию подались, и даже в психологию... Вас-то куда бросило, Георгий Петрович? Готов хранить тайну исповеди, если прикажете.

— В террористический заговор.

Наш директор был не из тех, кого легко можно было огорошить. На мою серьезную мину он ответил тонкой улыбочкой:

— Против кого же?.. Учтите, я не люблю экстремистов.

— Против Христа.

— Совсем интересно. И что же, получилось? Или пока только готовитесь?

— Получилось.

— Каким образом? Стораю от любопытства.

— Забрались в первый век и прикончили его там еще до того, как Христос стал Христом.

— Но поделитесь — как вам удалось попасть в первый век?.. И, простите, зачем вам такие хлопоты?

— Удалось общепринятым теперь способом — заложили в машину запрограммированную модель нужно нам отрезка истории...

— Модель истории?! — ужаснулся директор.

— Разумеется, схематически упрощенную.

И он облегченно вздохнул:

— Уф! Задали загадочку... Теперь, кажется, понимаю. История, но без Христа. Хотелось узнать, как поведет она себя без этой фигуры... И что же получилось?

Я пожал плечами.

— То-то и оно, что ничего. Христос снова воскрес.

Директор ничуть не удивился, удовлетворенно кивнул седой головой.

— А вы ждали конвульсий, апокалипсических потрясений?.. И если выдающаяся личность столь влиятельна, то нельзя ли этим воспользоваться — сделать героев истории инструментом доводки, направить жизнь в райские кущи? Правильно ли я вас понял, Георгий Петрович?

Разве можно было объяснить накоротке, чего я ждал? Мне и теперь-то это далеко не совсем ясно.

— Вы очень догадливы, Константин Николаевич. — Что я еще мог ему ответить?

Он помолчал, оценивающе разглядывая меня, наконец заговорил:

— Увы, ваш результат подтверждает сермяжное правило — знай, сверчок, свой шесток. К великому сожалению, Георгий Петрович, мы не ведущие, а ведомые. И зачем вы так далеко забирались — аж в первый век? Пробрались бы поближе, в прошлый век, в самый его конец, в лабораторию Анри Беккереля. Что вам стоило выкрасть у него ту самую роковую пластинку, засвеченную урановой солью! От нее же все началось — и раскупорка ядра, и взрыв над Хиросимой, и нынешние термоядерные кошмары. Не-ет, вы знали, что такой

дешевый криминалистический трюк ничего не даст: не наткнись Беккерель на оказию, было бы то же самое — тот же уровень развитости ядерной физики, тот же запас бомб, мешающих нам спать. Эволюция, наверное, не устояла бы перед энтропией, если б не застраховала себя от случайностей... Христа убили — Христос возродился. Оч-чень, оч-чень интересный результат. Многозначительный!.. — Директор распрямился и сразу стал озабоченно деловит. — Однако я вас пригласил не для того, чтобы уличать. Каждый волен тешить себя чем хочет. Расчетец на вас имею. И заранее скажу: буду очень огорчен, если вы не пойдете мне навстречу.

Я насторожился — наконец-то увертюра окончена, началась ария.

— Выдвинули мы в свое время Калмыкова и надеялись — молодость не порок. А ведь слаб, мелко пашет. Вы не находите?..

Калмыков, тоже физик-теоретик, но не успевший еще проявить себя, был выдвинут ученым секретарем, должность ответственная и хлопотливая, где приходилось быть и дотошным канцеляристом.

— Не нахожу, Константин Николаевич, — ответил я. — Возможно, Калмыков и неглубоко пашет, но борозды не портит.

— С вашего чердачка, Георгий Петрович, не видно, а вот мне постоянно приходится подправлять огрехи... Да особенно и винить парня нельзя, трудно без имени, без авторитета, ординарному кандидату наук ладить с нашими мастодонтами. Тут нужен человек с опытом и заслугами.

Мне сразу открылось все. Вовсе не ради досужего любопытства расспрашивал директор о моих чердачных бдениях, ему позарез было нужно знать — насколько они серьезны. Я занимался не физикой — это его нисколько не смущало, при случае мог даже взять под покровительство. Сейчас все ждут открытий на стыке наук, заройся я в биологию или психологию — директор не стал бы взваливать на меня должностную ношу. Вдруг да пробьет брешь, куда Макар телят не гонял, — новое направление, новые перспективы, новое в активе института! Теперь вот выяснил — «каждый волен тешить себя чем хочет», — но за блажь денег не платят, изволь-ка заняться делом: Калмыков не пашет, паши ты! Я знал своего директора — намеченную дичь из поля зрения не выпустит.

Он поднялся.

— Я не требую, Георгий Петрович, немедленного ответа. Не к спеху. Взвесьте, обдумайте, выдвиньте мне условия, какие найдете нужными. Обещаю быть покладистым. Не сомневаюсь — мы с вами сработаемся.

Ох, мягко стелет, да жестко спать. И полное пренебрежение к тому, что влекло меня. Я тоже встал и пожал доброжелательно протянутую руку.

У дверей внезапно вызрел вопрос.

— Константин Николаевич, — обернулся я, — вот вы сказали: мы не ведущие, а ведомые... Не значит ли это, что в основе нашей деятельности лежит приспособляемость?

Он, не успевший опуститься за свой стол, задержался, задумался на секунду, ответил:

— Одно из свойств живого — способность адаптироваться. Почему мы должны быть исключением?

Поразительно: у моего легкомысленного сына оказался столь могучий сторонник.

4

Дверь открыла Алевтина Ивановна, младшая из дочерей Ивана Трофимовича. Я ее знал еще восьмилетней девочкой, худенькой, конопатой, патлато-белесой, тихой, как мышка. Сейчас это плотная молодая женщина с жаркой шапкой крашенных хной волос, с тяжелой, решительной поступью.

— Вы опоздали, — осуждающе сказала она. — Этот уже у него.

— Кто — этот? — не понял я.

— Ну поп! Батюшка! Святой отец! — Она не могла сдержать своего раздражения.

— Аля, я ничего не понимаю.

— Не могла же я пускаться в объяснения по телефону: мол, мой отец совсем свихнулся, потребовал... как там у них называется?.. святое причастие или просто исповедь, уж не знаю... До сих пор в голове не укладывается: он, Иван Голенков, из тех, кого раньше называли гранитными, твердокаменными, сейчас вот испрашивает у попа прощение!

Алевтина Ивановна порывисто вынула платочек, но

к глазам не поднесла, скомкала его в кулаке — глаза сердитые, но сухие.

— Пойдемте, Аля, сядем где-нибудь, — попросил я. — Целый день на ногах.

Вскинув рыжую копну волос, тяжело и прочно ступая, она провела меня в столовую, первая устало опустилась на стул, кивнула.

— Там...

Дверь, ведущая в столь знакомую мне угловую комнату Ивана Трофимовича, плотно прикрыта, ни шороха, ни голосов не пропускает — непривычный гость действует в тишине.

— Родной дочери запретили даже заглядывать! — Алевтина Ивановна не боится, что ее раздражение будет услышано. — Таинство, видите ли. Душу открывает... Кому?! Не мне, не вам — чужому человеку!

Именно это-то у меня сейчас вызывает никак не раздражение, а вину. Иван Трофимович пытался мне исповедаться, да, и настойчиво, но в последнее время полного понимания у нас не получалось. Я уносил огорчение — эх, старость не радость, а Иван Трофимович оставался со своим: кому повем печаль свою? Как было ему, однако, нестерпимо плохо, если решился пригласить со стороны, пусть даже не враждебного уже теперь, а все равно чужого человека, своего рода должностное лицо. Ему повем сокровенное, больше некому... Обиженно-раздраженный голос дочери мне неприятен: тебе-то, голубушка, наверняка тоже пытался исповедоваться, хоть бы чуть устыдилась, что не смогла понять отца.

— Вы, конечно, думаете — должна бы наотрез отказать... Впрочем, отца вы моего хорошо знаете, никогда он ни перед чем не останавливался. Отказала бы — умер, да еще и проклял перед смертью... Вот мне и хотелось, чтобы вы... вы пораньше, до прихода попа встретились. Вы один имеете на отца влияние. Просила же — не опаздывайте!..

— Вряд ли я что-нибудь бы изменил, Аля.

— Но тогда — кто, кто как не вы?..

— Кто поможет человеку, который сам в себе запутался?

— Ах, вам-то что! Пожмете плечами: мол, старый знакомый с ума спятил. А нам какво? На нашу семью пятном ляжет, не сразу отмоемся. Муж лекции о дарвинизме читает, издательство «Знание» договор на кни-

гу с ним заключило. А теперь станут трубить кому не лень: в семье дарвиниста поповщина гнездо вьет!..

У нее ненастно-серые глаза, какие когда-то были у отца, но в них злой, колючий зрачок, и в лице ее, пухлом, утратившем скучную отцовскую рубленость, проглядывает что-то дрябло-бульдожье.

— Послушайте, Аля, отцу сейчас куда хуже, чем вам. На вашем месте я все-таки думал бы о нем, а не о себе. И она задохнулась.

— Вы!.. Вы смеете — мне!.. Я — о себе, о нем — нет?!

— Да, и не только сейчас, а уже давно. Давно отец для вас — досадная обязанность, житейский долг, который полагается выплачивать.

Я знал, на что иду: с этой минуты мы враги, но многого не теряю — друзьями мы никогда и не были. А я бы презирал себя, если б перед надвигающейся смертью предал своего командира, своего названного отца. Не от трусости, не от ханжества этот мужественный и честный человек изменял теперь сам себе — от отчаянья. Кому дано понять глубину отчаянья ближнего? Не дочери же, страшащейся за судьбу мужниной расхожей книжонки. Не решусь сказать: понимаю, но подозреваю — отчаянье бездонно.

Мы глядели друг на друга. У нее наливалось кровью лицо, розовел лоб, а глаза яростно светлели...

Скандал не успел разразиться, за дверью раздался придушенно-сиплый выкрик, грохот падающего стула. Дверь распахнулась, из нее не выскочил, а скорей вывалился, путаясь в рясе, долговязый батюшка — молод, бородат, гневно румян, на узкой груди в вольных складках поблескивает крест.

— Вам... Ах, бож-ж мой! — Он налетел на угол дивана. — Вам следует пригласить врача-психиатра, а не священника!

Возвышаясь посреди комнаты, Алевтина встретила его пасмурным взглядом, не ответила. И батюшка обиженно приосанился, траурно колыхаясь, на ходу обретая должное достоинство, двинулся к выходу.

— Сто-ой!..

В дверях, держась за косяк, вырос Иван Трофимович — тяжелая, темная, как кусок мореного дуба, голова с устремленным вперед полированным надлобьем

и плоско висящая на перекошенном костяке пижама игривой расцветки в белую и розовую полосу.

— Стой! Не беги! — сипло, с клетотом.

Священник остановился, досадливо обернулся.

— Бож-ж мой! Сами позвали — и раздражаетесь... Зачем вам святое причастие?

— Я много ненавидел, хочу любить... Лю-бить!.. Вы ж обещаете это...

— Так проникнитесь кротостью, подготовьте себя к любви.

— Кротостью?! Мальчишку прислали. Что ты мне можешь сказать?

— Слово божье. С ним пришел.

— Пришел поучать... По какому праву?.. Больше видел? Больше пережил?.. Что ты знаешь о жизни, молокосос?

Батюшка всплеснул траурными рукавами.

— Я к вам с утешением, а вы оскорбляете!

— Утешение? Умиращему?! Экие вы балбесы!

— О господи! Чего же вы хотите?

— Любить напоследки! Ее!..— Иван Трофимович дернул подбородком в сторону стоявшей с запрокинутым лицом дочери.— Его!..— Кивок в мою сторону.— Любить их! Страдать за них!.. Да!.. А ты — уте-ше-ние... Повесь его себе... вместо креста...

Он задыхался, изрытое лицо стало угрожающе черным, корявая рука в нарядном бело-розовом рукаве дрожала, цепляясь за косяк дверей. Сейчас рухнет. И я кинулся к нему.

— Хватит! Пойдем!

Он обмяк, навалился на мое плечо — пугающе легкий, по-детски беспомощный.

В знакомой сумеречной комнате держался неистребимый берложий запах. Я уложил бывшего командира на смятую постель, укрыл одеялом. Запрокинутая тяжелая голова на тонкой скрученной шее, острый кадык, мятые веки опущены, каждый вдох сопровождается клетотом, а в запавший висок бьется наружу неуспокоенная жизнь.

— Слушай, что я тебе скажу,— заговорил я, склонившись над черным, пугающе чужим сейчас лицом.— Ты зря терзаешься — ты не из последних могикан на земле. Младая жизнь будет играть. Будет! Не прервется!

Он поднял веки — мерцающий взгляд из бездны, — и натужно прерывистое:

— Ладно уж... Прощай...

Не последние ли это слова? Я постоял над ним. Мы часто были сердечны друг с другом, но никогда не проявляли нежности. И сейчас я осторожно пожал лежащую на одеяле руку. Она была холодна — словно коснулся водопроводного крана.

Под дверями, уткнувшись рыжими волосами в резную спинку старого узенького дивана, беззвучно плакала Алевтина, спина согнута, полные плечи вздрагивают. И меня прожгло — хищница? Да протри глаза!

Пройти мимо я теперь уже не мог.

— Аля, простите... Какой же я дурак, однако.

Она пошевелилась, приподнялась, вытерла лицо ладонью крепко, с нажимом — простонародный жест бабы, которой некогда убиваться, надо хвататься за дело.

— Идите, Георгий Петрович.— Устало и недружелюбно, в сторону.

— Чем мне вам помочь?

— Уже помогли. Спасибо.— Она повернулась — лицо в пятнах, сквозь непролившиеся слезы кипящее презрение: — «Чем помочь?» — ножкой шаркнули. Да кто мне поможет?! Это я всем помогаю, все на себе волоку! Сестры откололись — одна на край света в Хабаровск сбежала, другая хоть и в Москве, да в стороне, тоже порой расшаркивается: чем помочь тебе, Аленька? У Аленьки и дети на шее, и муж-рохля, которого в спину надо толкать, сам себя не подхлестнет — приятели, шахматешки, разговорчики пустопорожние... А отец... Ах, отец!.. Даже когда здоров был — к нему не подладишься. Теперь ему и вовсе весь мир нехорош с собой в придачу. Миру плевать на выжившего из ума старика. Над собой поизмываешься да перестанешь. А я всегда у него под боком, меня можно не жалеть — снесет, дву-жильная!.. Гос-спо-ди! Доколе еще?! Н-не мо-гу! Не мо-гу! Выдохлась! А тут еще радетели подкатывают — не смей думать о себе! Кто б за меня о нем подумал?.. Из многих лет хоть на один день груз снял, дыхание бы перевести...

Она потухла, вяло махнула рукой.

— Ох, чего ради доказывать?.. Идите, Георгий Петрович, да побыстрей. Здесь все лишние, кроме меня...

Вечер. День кончился. Я вошел в этот день с ношей, ее мне подарил день вчерашний. Что в этой ноше, я толком еще не дознался — может, этот ящик Пандоры, который бы лучше и не раскрывать, а может, сокровища. Нет ничего соблазнительней неразгаданного! Я собирался развязать свою ношу вечером, ждал этого часа. Пусть даже ящик Пандоры, но устоять не смогу — незнание для людей страшнее, чем явные бедствия.

Вечер. Я тупо смотрю на древнего Мыслителя. День нанес мне несколько сокрушительных ударов, и я разбит, оглушен, ничто уже не соблазняет, ничего не хочется — калека. Не сумел одарить своего сына тем немногим, что имел сам. Директор института указал мое место — на должность мессии не подходишь, займись более доступным делом... А старик Голенков добавил: все бrenно — высокие мечты, кипучие страсти — и уйдешь в мир иной неудовлетворенным.

— Георгий, что с тобой?

От Кати не скроешь и от нее не отделаешься случайным ответом: мол, нездоровится что-то. Рад бы открыться, но как? «На должность мессии не подхожу, Катенька». Она-то это бедой не считает. Самый близкий мне человек на свете.

— Моей вере сегодня ноги переломали. Но это пройдет, Катя.

— Вере? — удивляется она. — Ты же из неверующих, живешь сомнениями.

— Да сомнения-то начинаются с веры, Катя.

— А я считала — наоборот. Сначала сомневаешься, затем опровергаешь сомнения, только потом уж вера. Истина и вера не едины ли?

— Вера — старт к истине, Катя. Сначала я должен поверить, поверить просто, без достаточных оснований: в падающем яблоке есть что-то сверх того, что видишь. А уж потом и сомнения и опровержение сомнений — полный набор, который сопровождает процесс мышления.

— Ты сегодня ходил по Москве и указывал людям на падающее яблоко — тут что-то есть?..

— Нет, просто приглядывался к людям и понял — мне не открыть им глаза на «верую». И неизвестно, удастся ли это кому-либо.

— А твои юные апостолы?.. Ты веруешь, они — нет?

— Я еще не успел им всего сказать...

— Так скажи!

Я уныло молчал, а Катя решила действовать:

— Сейчас еще не поздно. Позвони, пригласи на чашку чая.

— Устал, Катя. Не стоит.

— Я тебя знаю — не уснешь, завтра будет испорченный день. И хорошо бы завтра, того гляди, неделя окажется испорченной. Зови, но не всех, чтоб не разводить шабаш на ночь.

И я решился позвонить Фоме неверующему из апостолов — Толе Зыбкову. Он жаден до знаний, но разборчив — подозрительное съест не заставишь. И он безжалостен, этот мальчик, ложь во спасение ему чужда.

Через час Толя был у меня. Катя собрала в моей комнате на журнальном столике чай, оставила нас одних. Я рассказывал, а Толя ерзал, чесался, хмыкал, однако слушал внимательно. Он слушал, а я оживал. Мыслитель забыто сидел на письменном столе к нам спиной.

5

Свободы сеятель пустынный,
Я вышел рано, до звезды;
Рукою чистой и безвинной
В поработанные бразды
Бросал живительное семя —
Но потерял я только время,
Благие мысли и труды...

Наверное, все, кто олицетворял собой совесть человечества, кто бросал живительные семена добра и справедливости, испытывали, как и Пушкин, бессильное отчаянье. Многие из них теряли не только «благие мысли и труды», но и жизнь.

Пушкин считал — всему виной косность, равнодушие людей:

Паситесь, мирные народы!
Вас не разбудит чести клич.
К чему стадам дары свободы?
Их должно резать или стричь.

Подавляющее большинство подвижников разделяли этот взгляд.

Самому раннему изображению колеса — неуклюже-

му, еще без спиц, на так называемом штандарте Ура — нет и пяти тысяч лет. На свете произрастают деревья и постарше возрастом. Эволюционное мгновение, в которое укладывается вся наша буйная цивилизация.

Ничто в природе не находится в покое, движение — одно из условий существования от элементарной частицы до Вселенной в целом. Характер движения определяет специфику природных модификаций. Планеты Солнечной системы не могут вращаться быстрее или медленней — система развалится.

Человечество на данном этапе может пребывать лишь в состоянии возрастающего ускорения. И такое состояние вовсе не исключительно, через него проходит и штамм развивающихся бактерий, и разрастающаяся популяция животных; и взрыв научной информации, какой мы сейчас переживаем, — явление того же порядка. Математики это называют экспонентным развитием.

Растущая скорость не дается даром, за нее приходится дорого платить — силой и благополучием многих и многих поколений безмянных рабов, крепостных, фабричных рабочих, потом и кровью своей смазывавших несущееся вперед колесо истории. И как следствие — притеснение, вражда, обоюдная ненависть, унижения, пресмыкательство... Совершаются завоевания, осваиваются новые стихии, но...

На всех стихиях человек —
Тиран, предатель или узник.

Пушкин с поэтической силой провозглашал традиционный взгляд — люди ответственны за свою порочность. Маркс вскрывает объективные причины. Бурно развивающиеся производительные силы, считал он, не приносили и не принесут, если не изменить существующие порядки, благополучия труженику. Он выдвигает теорию относительного и абсолютного обнищания рабочего класса. Если господин был вынужден как-то заботиться о своем рабе — собственности, потеря которой для него прямой урон, — то капиталист нанимает рабочего: не собственность, беречь нечего, умрет от непосильного труда — туда ему и дорога, легко заменить другим. Машины освободили от работы столько тружеников, что всегда найдутся желающие продать себя за черствый кусок хлеба. Чем дальше, тем больше станет машин, они будут совершенствоваться, все больше и больше

окажется безработных, готовых наняться за жалкие гроши, заработная плата рабочих неудержимо покатится вниз. Производительные силы растут, вместе с ними растет обнищание трудящихся масс, в той же пропорции растет богатство хозяев, растет к ним озлобление, существовавший прежде антагонизм беспредельно обостряется, сильным мира сего придется прибегать к столь жестоким мерам, каких прежде и не знало человечество. Кошмар впереди!

Но не прошло и семидесяти лет с тех пор как Маркс впервые опубликовал свою теорию обнищания, а уже один из его сторонников, Франц Меринг (по определению Ленина, не только желающий, но и умеющий быть марксистом), сообщает, что «широкие слои рабочего класса обеспечили себе на почве капиталистического строя условия существования, стоящие даже выше жизненных условий мелкобуржуазных слоев населения».

К нашему времени эти жизненные условия рабочих еще больше повысились — восемь часов рабочий день, два выходных дня в неделю и материальная обеспеченность, о какой прежде только могли мечтать простые труженики.

Что же случилось?.. Не значит ли, что закон — чем выше производительные силы, тем выше и темп развития, их пожирающий, — оказался ошибочным? Или этот необузданный темп стал спадать, Молох начал утрачивать аппетит?.. Беспристрастные математические расчеты предсказывают именно такой исход — ускоренное возрастание до бесконечности продолжаться не может, спад неизбежен.

Но не случайно же мы говорим о разразившейся научно-технической революции. Мы наблюдаем, как мир заполняется машинами, их неиссякаемый поток ширится, проникает во все уголки нашей жизни. И сами машины с каждым днем становятся производительней и производительней, с каждым днем они сказочно совершенствуются... Нет, производительные силы сейчас возрастают с фантастической мощью, вызывая феноменальный темп развития, который не на шутку начинает пугать нас.

Закон возрастания не только остался в силе, но проявляет теперь себя с наглядностью ошеломляющей. Известный Молох растет как никогда, как никогда про-

жорлив. Но что теперь для его непомерно возросших appetитов та жалкая надбавка, которая выжималась из труженика жестокой эксплуатацией! Физические ресурсы человека практически неощутимы для вымахавшего колосса. Лишь усиленная эксплуатация сверхмощных машин способна его насытить.

В мире идет процесс — эксплуатация человека подменяется эксплуатацией машин! Эксплуатация человека исчезает, значит, исчезнет и повод для антагонизма, для ненавистничества, добро восторжествует над злом.

Наступает вымечтанное?..

Ой ли?..

Жена легла спать. В полночь пришел Сева, просунул к нам голову, сказал «Пардон», исчез в своей комнате и, повозившись за стеной, тоже уснул. Мы с Толей сидели за неприбранным столиком голова к голове, говорили вполголоса.

Все, что я накопил в бдениях с Мыслителем, выплеснул сейчас на Толю, и это вывело его из привычного самоуверенного равновесия — ни уютной посадочки в креслице, ни загадочной блуждающей улыбочки, поглядывает исподлобья, и даже физиономия его, кажется, обрела некую удлиненность от серьезности.

— Сытый человек необязательно должен быть добрей и отзывчивей. Это давным-давно замечено, Георгий Петрович... — Но своей кошачьей вкрадчивости Толя не утратил, осторожно подкрадывается, чтобы совершить прыжок. — Теперь многие страны живут сытно, но ни одна, Георгий Петрович, ни одна не может похвастаться, что нравственность стала выше. Напротив, сытые-то и стонут о падении нравов.

Я предупреждаю прыжок, спрашиваю:

— Что ты хочешь сказать?

Толя вздыхает.

— Думается, вы и сами это хорошо понимаете, Георгий Петрович. Способ производства изменился, благоприятно изменился, а люди лучше относиться друг к другу не стали. Выходит, Пушкин и прочие страдавшие за народ поэты и моралисты правы — не в способе производства беда, а в самом человеке сидит ущербность.

Как ее выкорчевать? Проповедью «люби ближнего» не получается, стихами — тоже...

Он ищуще вглядывается в меня. Сейчас это уже не самовлюбленный суперменчик — лишь бы потешить себя знаниями, «летите, голуби»... В голосе его не иронические, а страстные нотки: как выкорчевать?.. Ищуще вглядывается, ждет ответа. Похоже, какую-то победу над независимым мальчиком я все-таки одержал.

— Ты считаешь, что способ производства изменился? — спросил я.

И Толя опешил:

— К-как?! Вы только что говорили...

— Говорил: изменилось производство, но не его способ.

— Разве это не одно и то же?

— Нет.

Его подбитое жирком тело напряглось.

— Виноват, Георгий Петрович, туп, не секу — какая разница?

— Какая разница между плаванием и стилем, действием и способом его осуществления?.. Пловец вырос из детского возраста, стал мощным мужчиной, мощно и плавает, но... собачьим стилем, как в детстве. Сколько неудобств он от этого испытывает! Вот и производство развилось, приобрело размах — дедам не снилось! — а осуществляется оно тем же дедовски-капиталистическим способом: по найму.

— Так и что же?

— А то, что акт найма — своего рода диктаторство: исполняй то-то и то-то, получай столько-то, сам себе не принадлежишь, за тебя решают другие.

— Но диктаторство-то уже не прежнее, Георгий Петрович, заметно смягчилось — соки не выжимает, страдать от него сильно не приходится.

— Увы, заставляет страдать.

— Труженика?..

— Его в первую очередь.

Толя зябко поежился.

— Не вяжется у меня что-то, Георгий Петрович. Прежде давили юшку — страдали, понятно, теперь юшку не дают, и нате — острей страдания.

— Прежде все силы труженика, все его время без остатка уходило на то, чтоб прокормиться, удовлетво-

рить свои чисто физиологические потребности, ни на что другое уже не хватало. Теперь же «быть сыту» все силы не съедает, остается избыток. А избыточные силы выхода требуют, в покое оставаться не могут. Достаточно малейшего повода, чтоб человек стал проявлять себя. Да, соответственно поводу, да, толчку, который он получил извне. А толчки-то труженик ежедневно испытывает раздражающие, каждый день его ставят в незавидное положение — подчиняйся без возражений, сам себе не принадлежишь, не свободен...

— Далеко в не столь незавидное, в каком был раньше.

— Так ли? Раньше чувство неполноценности у него заглашалось животным чувством голода, но теперь-то, при сытости, оно должно стать нестерпимым. И все потому, что остался старый способ производства. Маркс, выходит, все-таки прав, Толя.

Толя клонил лоб, посапывал озадаченно.

— Рабочие должны написать на своем знамени революционный девиз: «Уничтожение системы наемного труда!» — произнес он подчеркнуто размеренно, как обычно выдавал цитаты. — Если помните, это слова Маркса из доклада на Генеральном совете Интернационала... Но вот я никак не припомню, Георгий Петрович, чтобы Маркс предлагал что-то взамен, какую-то новую систему.

Я развел руками.

— Ну, Толя!.. Плавали мы, плавали по времени, вглядывались в него с разных сторон, а главного ты так и не увидел... Да мог ли Маркс предложить новый способ — не по найму, скажем, а на каких-то рабочих коллективных началах? Мы только что говорили: во времена Маркса темп развития требовал усиленной эксплуатации рабочего. И не считаться с темпом развития нельзя. Задайся Маркс тогда целью превратить рабочих в коллективных хозяев, получалось бы, что они, рабочие, должны стать эксплуататорами... самих себя, не иначе. Такую нелепицу и вообразить трудно. Пустопорожним прожектером Маркс не был. Время не пришло, друг мой.

— Но тогда чем же мы займемся, Георгий Петрович? — спросил Толя. — Выяснением новых закономерностей?

— Без них не обойтись.

— Прошу прощения — «летите, голуби»?..

Мальчик менялся на глазах — теперь уже он кидал мой камень в мою голову.

— Нельзя изобрести способ производства, Толя.

— Но?.. Ведь есть же у вас в запасе «но», Георгий Петрович?

— Но можно уловить его появление.

— Где?

— В жизни, разумеется. Первые робкие росточки.

— И вы считаете, Георгий Петрович, что росточки уже появились?

— Должны.

— И в нашей стране?

— И в нашей стране.

Толя замолчал. За окном стояла глубокая ночь.

6

От Христа и Павла мы вышли на наше время. В моем институтском скворечнике с арочным окном на шумную улицу два дня подряд мы подбивали итоги, выясняли, как действовать дальше.

Ирина Сушко принесла огорчительное известие, которое, впрочем, мы давно уже ждали, — нам закрыли доступ к электронному оракулу: хватит, потешились, пора и честь знать, нас и так слишком долго терпели. Ирина сердечно поблагодарила участливых жрецов и с миром рассталась...

Я находился под прицелом. Директор института не торопился с ответом, но ждал его. Он умел и ждать и дожимать. Если я скажу ему «да», то витать в эмпиреях мне будет некогда, захлестнет текучка.

Но теперь-то, собственно, для нас все и начинается. До сих пор мы вели авантюрную, неупорядоченную разведку, шарили в тумане. Туман рассеивался. Мало набрести на догадку о незримом Молохе, надо обосновать эту догадку, установить зависимости. Каждое явление мы рассматриваем во времени, которое не стоит на месте — движется то замедленно, то напористо, — придется делать сложные количественные расчеты...

Казалось бы, обилие и сложность задач должны пугать, но я почувствовал себя в своей стихии. В самом начале нашего флибустьерского плавания я уже подозревал: какие бы шальные ветры ни носили наш корабль, его рано или поздно должно занести в открытые воды физики. Они так широко разлились, что экспедиции под разными научными флагами ныне не могут их миновать. Математический аппарат исследования физических явлений применим и к человеческой природе. Теория случайных процессов объясняет не только движение взвешенных частиц в жидкости, но и некие исторические неожиданности; кривой экспоненты можно выразить и возрастание напряжения в конденсаторе, и развитие нашей цивилизации... Я перестаю быть увлеченным дилетантом, тридцатилетний профессиональный опыт теоретика — мой взнос в новое дело. Чувствую себя полномочным представителем от физики, науки, которая в наш век двумя революционными скачками вырвалась вперед в познании мира.

А раз так, то сейчас я могу уже без смущения, в полный голос разговаривать с директором:

«У вас создалось впечатление — я увлечен потехой. Каюсь, я сам ввел вас в заблуждение, не смел еще раскрыть карты, не знал, достаточно ли сильны мои козыри. Теперь готов ходить в открытую, бить любое ваше сомнение. А вы не из тех, кто хватается за шиворот своих сотрудников — не лезь на неосвоенную целину, топчись в отведенном загоне. Смею рассчитывать — не станете задерживать, а благословите в путь. Но тогда Калмыкова вам придется заменить не мной, а кем-то другим, а мне оказывать посильную помощь. Вам, например, не стоит большого труда узаконить двух моих сотрудников — историка и программиста, — пробейте для них две ставки. И, разумеется, вы не допустите, чтоб мы заводили интрижку с чужими оракулами — в нашем институте и своих хватает...»

Однако такой разговор, верно, произойдет не скоро, к нему нужно подготовиться, «поднабрать козырей». Но уже и теперь из подвешенного состояния я опускался на твердую почву, радужные надежды переполняли меня.

Мы вышли на наше время и это событие решили торжественно отпраздновать.

— Время плакать — и время смеяться; время сетовать — и время плясать! — Охота на Христа даром не прошла для Миши Дедушки, он стал знатоком Ветхого завета, цитировал Екклезиаста.— Чур, Георгий Петрович, на праздник я приду с Настей.

— А я с балалайкой,— ввернул Толя.

Торжественный обед давал я, и веское слово тут принадлежало не мне, а Кате:

— Никаких ресторанов! Жареных лебедей не обещаю, а сыты и веселы будете.

Такой праздник не мог пройти мимо Севы, хотя мы и жили с ним «на разных этажах». Мне даже хотелось столкнуть его с моими флибустьерами — взгляни на отца с лицевой стороны!..

Первой явилась Ирина Сушко с гвоздикой, рдеющей в черных волосах, и букетом гвоздик в руках, лучащиеся глаза под бровями умиротворенны, почти благостны, никакой колючести в них. Ирина сейчас, похоже, переживала то внутреннее победное удовлетворение, какое, наверное, должен испытывать приземлившийся парашютист — совершил, что пугало, готов теперь совершить большее.

Ирина пристроила в вазе гвоздики, освободилась от кофточки, ринулась на кухню помогать Кате. Сева, шатавшийся по квартире с миной показательного терпения, встряхнулся, изрек многозначительное: «Эге!» И скрылся в своей комнате.

Через десять минут он возник при параде — накрахмаленная сорочка, широкий галстук с павлиньим глазом, вельветовые брючки в обтяжку.

С коротким звонком в дверь ввалился Толя Зыбков, растрепанный, распаренный, блаженно жмурящийся, тоже с цветами, изрядно помятыми в автобусной давке, и... с балалайкой.

— Наш Дед, он же Копылов Михаил Александрович, задержится,— объявил он с порога.— Невесту на вокзал провожает.

— Как на вокзал?! Он же обещал быть здесь вместе с Настей.

— Настя, Георгий Петрович, было бы вам известно,— шкатулочка с сюрпризами. Когда договаривались,

она, видите ли, забыла, что именно в этот вечер ее троюродная тетка в Звенигороде справляет... не помню только что — день ангела или серебряную свадьбу... Конечно, очень жаль, что Настя не украсит наше общество, ну а Мишка быстр на ногу, моментально обернется... Цветочки вот... Извиняюсь, подарочного вида они уже не имеют. Приходилось оберегать от внешней агрессии инструмент, гордость маэстро.

Балалайка — гордость маэстро — была без футляра, дешевенькая, неказисто-облезлая. Толя непочтительно сунул ее в угол возле входных дверей, прямо на мои ботинки.

— Маэстро лучшего места для инструмента не нашел? — заметил я.

— Не балую, Георгий Петрович. Не привередлива...

Мужчинам, чтоб они не попадались под ноги, не мешали накрывать стол, приказано было не вылезать из моего кабинета. Толя вооружился парой бутылок минеральной воды, пил, отдуваясь, и лоснился. Сева с любопытством на него поглядывал.

— Папа, у тебя обаятельные помощницы, — сказал он.

Толя хмыкнул.

— Вы не согласны? — повернулся к нему Сева.

— Согласен, — пропыхтел Толя, набулькивая себе второй стакан. — Волчица тоже выглядит обаятельной... когда не рычит.

— Рычит?..

— А вы думаете — людоедством занимаются молча?

— Она — людоедка?!

— Пусть это вас не пугает — мальчиков она переваривает с трудом, а потому за ними и не охотится.

Сева попытался дать сдачи:

— Но для вас она, конечно, делает исключение?

— Приходится. Раз нет других — хватай тех, кто рядом. Терпим.

— Кого это вы терпите? — Сама Ирина с накаленными у плиты щеками ворвалась к нам.

— Вас, Ирина Михайловна. Ваше обаяние нам приходится терпеть. — Толя раздвинул в улыбочке круглую физиономию.

Ирина повернулась к Севе.

— «Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде...»

— Представьте себе, и я примерно то же подумал, только, конечно, другими словами,— обрадованно подхватил Сева.

— Раз уж вы столь проницательны, то догадайтесь, зачем я сюда сейчас пожаловала.

— Наверно, чтоб пригласить нас к столу.

— Не угадали! Во-первых, наша компания еще не в полном составе, во-вторых, пирог с капустой пока не дошел, а в-третьих... Вот ради этого третьего я и пожаловала: считаю, что крепкой настойки, которую приготовила Екатерина Ивановна, может и не хватить. Надо учитывать — четверо мужчин! Неплохо бы срочно купить бутылочку или две коньяка. А теперь еще раз проявите свою проницательность, молодой человек. скажите мне: кто должен совершить сей подвиг?

— Берегитесь лжепророков и берегитесь пророчествовать! — торжественно возвестил Толя Зыбков.

Сева смиренно принял:

— Понимаю. Этот подвиг должен совершить я.

— Умница. И не медлите!

Сева ушел, Ирина выкурила с нами сигарету, скрылась на кухне. Толя Зыбков узрел Мыслителя на столе, взял его в руки, долго вертел, наконец непочтительно перевернул его вверх ногами, присвистнул.

— А скамеечка-то!

Низенькая скамеечка, на которой восседал Мыслитель, была с украшением — по нижнему краю шел простенький ступенчатый узор. Я как-то не обратил на него внимания.

— Это поразительно, Георгий Петрович! Недостаточно, видите ли, сидеть на удобной скамеечке, желаем еще и на красивой... Откуда эта странная потребность в красоте? Бабушка обезьяна, похоже, ею совсем не грешила.

И мы, склоняясь над перевернутым Мыслителем, заговорили о необходимости искусства...

Тема наша не скоро иссякла, а Миша все еще не появлялся. Вошла Катя, уже без передника, без кухонного румянца на лице, тщательно причесанная, со следами косметики, в светлом праздничном платье.

— Все готово. Может, начнем, чтоб не томиться?.. Да, а где же Сева?

— Послан за коньяком.

— Он давно уже вернулся. Сунул коньяк и мгновенно исчез. Я думала, он поспешил к вам... Ну-ка, ну-ка, пойду взгляну, что он там?..

Минут через десять Сева появился. Он был почему-то без своего ультрамодного галстука, лицо чуть бледно и как-то асимметрично. Я не успел его спросить, что с ним, как на столе зазвонил телефон.

7

Совсем незнакомый мужской голос:

— Товарища профессора Гребина Георгия Петровича мне, если можно.

— Слушаю вас.

— Из отделения милиции беспокоят. Капитан Кумушкин. Вопрос один к вам, если разрешите.

— Из милиции?.. Да, прошу.

— Вам известен такой гражданин... Копылов Михаил Александрович?

— Что с ним?

— Да вот задержан...

Через пять минут я уже бежал вниз по лестнице.

Довольно просторная, не слишком светлая комната милиции, перегороженная барьером, вызывала ощущение суровой отрешенности, даже заброшенности, словно находилась не рядом с шумной, залитой вечерним солнцем московской улицей, а где-то на глухой железнодорожной периферии.

У входа сгрущаясь подпирали косяк дверей дюжий милиционер, за барьером маячили красные околыши, а у стены на скамье под плакатом, уныло призывающим к борьбе с пьянством, четверо — нахохленный Миша Дедушка и длинноволосые долговязые парни. У двоих оскорбленно постные физиономии праведников, у третьего же физиономия деформирована, безобразно распухли губы — тут уж не до праведности, углублен в себя.

Миша встряхнулся, поспешно вскочил навстречу мне, придавленный, ставший, казалось, ниже ростом, жалко улыбнулся:

— Не дошел до вас, Георгий Петрович. Вот... свернуть пришлось.

— Прошу прощения...

Офицер милиции, крепенький, ладный, с приветли-

во-официальным лицом, живыми оценивающими глазами.

— Капитан Кумушкин. А вы, если не ошибаюсь, профессор Гребин.— С осуждающей властью в сторону Миши: — Прошу оставаться на месте. Если понадобится, позовем... Пройдемте в кабинет, товарищ Гребин, там все выясним.

— З-зыб-бы, гад, выб-бил...— Простонал парень с деформированной физиономией.

Кумушкин не обратил внимания на стон.

В тесном кабинетике с канцелярским столом, с окном на дворовую детскую площадку с качелями Кумушкин сменил официальную приветливость на начальственную озабоченность.

— Произошло следующее...— без предисловий начал он.— Магазин «Гастроном» по нашей улице, тот самый, что напротив скверика, думаю, вам хорошо известен... Ну так вот, некий молодой человек вышел из него с авоськой там или пакетиком, откуда торчали горлышки бутылок. За ним сразу увязались трое молодцов... Вы их только что имели честь лицезреть, правда, не в том геройском уже обличье, какое они обычно имеют на улице... В скверике они обступают этого молодого человека, происходит очень знакомая для нас картина — хваткая лапа на авоську, разумеется, с увещеванием: мол, алкоголь вреден для здоровья!.. При этом, учтите, сквер вовсе не безлюден — и прохожие, как всегда, и старушки с колясочками, и отдыхающие на скамейках пенсионеры, девочка собачонку на поводке прогуливает... Конечно, хозяин бутылок пытается негодовать — тычок в живот, а может, и в челюсть, парень оседает на землю, а молодцы, прихватив авоську с бутылками, резвым галопчиком... Да наткнулись. На него. На Копылова... Он действительно у вас работает?..

— Он мой ассистент. Знал его еще студентом. Могу со всей ответственностью...

— Да, да, товарищ Гребин! — с некоторым энтузиазмом, не дав даже договорить, соглашается со мной Кумушкин.— Нет никакой необходимости убеждать меня в порядочности вашего ассистента. Вам верю и ему верю! Он не напал на них с кулаками, а предложил вернуть отнятое и, должно быть, потребовал извиниться. Но это же уличные герои, их трое на одного... Первыми с кулаками набросились, конечно, они...

— М-да-а. Опрометчиво.

— То-то что опрометчиво. Двое сразу легли, а вот третий бросился бежать, но, должно быть, со страху забыл, что уносит украденную авоську. Ваш ассистент нагнал его... и в спешке неосторожно сработал — до крови и, похоже, зубы выбил.

— И вы это ему вменяете в вину?

— Лично я — нет.

— Ну тогда большая просьба — побыстрее отпустить его. Нас ждут.

Капитан Кумушкин с минуту сочувственно разглядывал меня, вздохнул.

— Вам придется все-таки выслушать меня до конца... Значит, герои валяются по газончикам, потерпевший сидит, съевшись, на дорожке, а в скверике, разумеется, переполох. И конечно же недобрыми словами нас вспоминают, милицию: мол, когда нужно, ее нет! Девочка с собакой самой разумной оказалась — добежала до постового. Десяти минут не прошло, молодцы даже очнуться не успели, как лежали, так и лежат. И ваш ассистент честно показывает — так-то и так, напали, сбили с ног того вон товарища. А потерпевший товарищ, когда постовой повернулся к нему, в глаза заявляет: «Никто на меня не нападал, ничего не знаю, сами сцепились, а постороннего втягиваете». И покупочку свою с бутылочками уже в руках держит...

— Как? — изумился я. — Почему?..

Снова на меня сочувственный взгляд капитана Кумушкина.

— Испугался, — просто объяснил он. — Эти копеечные разбойнички могут потом припомнить. И другие молчали по той же причине — от греха подальше. Не каждый же может постоять за себя против троих, как ваш ассистент... Словом, народу много, а свидетелей-то нет.

— Ну-ну, тем более должны принять решительные меры — терроризируют население.

— Э-эх! — с досадой выдохнул капитан Кумушкин. — Меры? Какие?.. Может, прикажете собственными силами молодцов проучить?

— Да боже упаси!

— Вот именно, упаси нас от всякого своеволия, мы первые подчинены закону. А господин закон от нас потребует: выкладывай доказательство на стол! И что

же можем положить? Первое — заявление благородного заступника, которое отвергается даже тем, за кого он заступился. Второе — следы жестоких побоев, нанесенные всем троим, вплоть до выбитых зубов. Третье — пояснительная справочка к делу: Копылов Михаил Александрович — мастер по каратэ, а пользоваться этим опасным мастерством равносильно применению холодного оружия... И как вы считаете, что скажет после этого закон?..

Я с минуту подавленно молчал.

— Но почему же потерпевшего не пригласили в отделение милиции? — неожиданно удивился я. — Почему здесь внимательно не побеседовали с ним?.. Почему из-за труса должен страдать порядочный человек? Из-за подлого труса!

Кумушкин огорченно покрутил фуражкой.

— То-то и оно. Пока разваливающихся на части молодцов собирали с газонов, потерпевший словно сквозь землю провалился. Да, постовой допустил промашку. Он не наш — из ГАИ. Спасибо ему на том, что согласился пост покинуть.

— Странные фокусы выкидывает жизнь, — заговорил я подавленно, — очевидное недоказуемо, подлость ненаказуема, а самоотверженность непростительна. Да неужели это вас не ужасает, товарищ Кумушкин?

— А я себя, товарищ Гребин, в рукавичках держу. На нашей работе возмущаться да кипеть — быстро испаришься, на дело тебя не останется.

— И как же вы нынешнее дело решите? Каким холодным способом?

— В три этапа, товарищ Гребин, в три этапа. Первый этап, можно считать, уже совершен — обратил пристальное внимание на этих подонков. Им мое внимание — нож острый, за каждым из них наверняка хвост тянется. А сейчас — второе: прошу их великодушно...

— К-как?!

— А вы хотите, чтобы я их к скамье подсудимых притянул? Они-то сядут, да рядом с собой усадят Анику-воина. И кому закон больше отвалит — этот вопрос мы с вами уже рассматривали. Так не лучше ли прохвостов отпустить, чтобы самоотверженного парня спасти? Или вы думаете иначе, товарищ Гребин?

— М-да! Двойная бухгалтерия.

— К сожалению, еще третий пункт есть. И очень

неприятный. Благородный Аника переусердствовал — высадил одному зубы. Вот этот не успокоится, потребу-ет медицинского освидетельствования, получит соответствующую справку, вместе с заявлением подсунет ее мне или кому-то выше. Тогда уж я бессилён остановить разбирательство.

Я молчал, я покорно ждал, когда капитан Кумушкин сообщит новый спасительный ход конем.

— Ради страховки,— продолжал он деловито,— в протокол придется внести пунктик — вставить зубы за счет Копылова. И предвижу — начинающий уголовничек станет торговаться, потребует золотые...

— М-да-а...

— Совету согласиться, иначе за зубы Копылов может заплатить не только деньгами.

Капитан Кумушкин поднялся, плечистый, грудастый, серьезный, явно довольный собой. Я молчал.

8

Миша шагал вместе со мной в угрюмом молчании. Отравленным чувствовал себя и я, однако сказал:

— Не самоедствуй, Михаил. В жизни случается и похуже.

— И в самом деле,— выдавил Миша,— дешево отделался. Всего-навсего — золотые зубы в поганный рот. Впредь будь умней — когда бьют да грабят, ходи спокойно сторонкой... — И его прорвало: — Этот хлюст сломал меня сейчас, Георгий Петрович. Парни что, они издалека показательно видны — обычные подонки. Даже в родниковой воде грязь оседает, в людях — тоже. Отфильтровать ее несложно. Но вот когда ядовитая соль растворяется, она неразличима, чистая-то вода отравой становится. Со стороны — нормальный человек, культурный, на вид даже приятный, мухи не обидит, старушке место в автобусе уступит. Лапушка! Ну как к такому с сочувствием не отнестись, плечо не подставить, в разговоре душу не открыть... И конечно же ждешь, что и он тебе — плечо, душу, сочувствие... А ты-то для него пустое место, так себе, невзаправдашний. Зачем ему считаться с тобой... Стою перед ним, у него и галстук помят, и физиономия набок, поди, и коленки дрожать не перестали,

а глядит на меня эдак холодно и прозрачно: «Никто меня не трогал, знать не знаю, сами сцепились»... В руках-то держит авоську с бутылками, которую я ему отвоевал и вернул... Сам выворачивайся, а я в сторону уйду, и совесть у меня спокойнешенька. Георгий Петрович, тридцать с лишним лет живу на свете, а такого бесстыдства еще не встречал...

— За всю жизнь одного встретил... Значит, не так и много на свете таких прохвостов.

— Уж не хотите ли сказать, Георгий Петрович: радоваться я должен?.. Не могу! Один такой сотни людей заразить может. Вот и я себя теперь чувствую уже не тем, каким к вам бежал.

— Эй, Миша! Истеришкой пахнет.

— Нет, Георгий Петрович, все думаться будет: кто из людей меня не скашлинув продаст? Ну а если я с подозрением к людям, то они ко мне с распростертыми объятиями, что ли? Нет! Тоже станут подозревать. И от меня пойдет эдакая проказа во все стороны.

— Не лги на себя, Миша! Или я не знаю тебя? Того быть не может, чтоб случайный подлец твою веру в людей сломал.

— А вдруг да, Георгий Петрович?

— В тебе талант сидит, Миша. Не к наукам, уж прости, а к вере в людей. Насколько знаю, ты тут всех превосходишь.

— Спасибо на добром слове, но только кто быстро бегают, тому лучше не спотыкаться — скорей других калекой окажется. Вот и я с разгончику сильно споткнулся...

Мы подошли к нашему подъезду. Миша замолчал. У него сейчас в лице явственно проступал костячок — выперли лобные бугры, провалились виски, в скулах какая-то мослаковатая жесткость и несолидный птичий нос из неухоженной бороды.

У входа висели почтовые ящики с номерами квартир, из нашего торчала вечерняя газета, я захватил ее по пути. Вместе с газетой пришло письмо. Не мне — Гребинной Екатерине Ивановне.

Встревоженная Катя встретила нас у дверей.

— Ну наконец-то!.. Что произошло?

За ее спиной в моем кабинете слышался тенористый голос Толи Зыбкова.

— Досадная случайность. Зови всех к столу. Нам с

Мишей срочно надо хватить по большой стопке... Да, вот тебе какое-то письмо...

Катя взяла письмо, озадаченно повертела, нахмурилась, спрятала, громко и строго возвестила:

— К столу, гости дорогие! К столу! Просим...

Полубояв Мишу за плечи, я ввел его в столовую. Косой луч солнца из окна ломался в стекле графинов, разбивался на брызги на ребрах фужеров. Вдруг я почувствовал, как окаменели под моей рукой плечи Миши. И словно выпрыгнуло на меня лицо Севы — брови на известковом лбу, остекленевшие, широко расставленные глаза. Двиганье стульев, шарканье ног, будничные реплики...

Я снял руку с Мишиных плеч, шагнул вперед. Оборвался нутряной хохоток Толи Зыбова, все замерли, и только звенел на столе кем-то задетый фужер.

Судорогу стиснутого рта Миши не укрывает даже борода, а взгляд темный, плавающий, уходящий от стеклянно выкатившихся глаз Севы.

— Он?.. — выдохнул я Мише.

Миша молчал, убежал взглядом от меня.

— Это он, Миша?!

— Георгий Петрович... — с сипотцей, через силу. — Извините, мне лучше уйти...

— Нет, зачем же... — Голос Севы был неестественно высок, тонок, вот-вот сорвется. — Зачем же... Уйду лучше я. И, собственно, зачем я вам на вашем вечере?

Однако не двинулся, ожидая, что ему возразят. И не ошибся. Ирина повела туго сведенными бровями в мою сторону.

— Что случилось?

Я не ответил ей, бросил Севе:

— Да, тебе лучше уйти.

Сева встряхнулся, деланно повеселел, двинулся к двери легким, с прискоком шагом. На пути его стоял Миша — глядел мимо Севы, не шевелился. Сева запнулся и остановился перед ним. С минуту стояли друг перед другом — подобранный, чуть сутулящийся, глядящий мертвым, касательным взглядом Миша и бледный, с вежливой виноватой улыбочкой Сева.

— Вы же должны понять, мне приходилось выбирать: быть благородным, но изувеченным или неблагородным, да целым, — произнес Сева уже не срывающимся, просто тихим, с искренней вкрадчивостью голосом.

Миша не ответил, не пошевелился.

Острый, словно заточенный профиль Ирины Сушко, рысья прозелень в прищуре Толи Зыбкова и обморочно бескровное, с разлившимися зрачками лицо матери.

Сева поспешно скользнул мимо Миши. Я увидел легкий перепляс его спины: «Ты ушла, и твои плечики...»

9

Я помог Кате собрать со стола. Невеселым же получился наш обед, гости не засиделись... И балалайка Толи Зыбкова простояла в углу у дверей на моих ботинках, никто о ней и не вспомнил.

Мы сели друг против друга в кухне и стали ждать — его, выгнанного сына, которого стыдились. Он мог и не прийти в эту ночь — обидеться, испугаться предстоящего разговора, решиться на разрыв. Но это была бы уж слишком большая жестокость к нам.

Катя перебирала на коленях вязанье, а я глядел в глухое ночное окно. Почему-то вспомнилась рабочая цепочка за ним, цепочка людей, перекидывающих кирпичи — слева направо, слева направо... Стена, отделяющая наш двор от торговой базы, на днях была закончена.

— Георгий... — произнесла Катя.

И я вздрогнул.

— Мне очень бы не хотелось добавлять, Георгий... Но письмо... То самое, что ты принес...

Должно быть, мой взгляд был совсем затравленным, так как Катя стала виновато оправдываться:

— Не сейчас, так завтра ты все равно же узнаешь. Такое не спрячешь, Георгий...

— Говори, все вытерплю, — сказал я. — В полный сосуд долить нельзя.

— Письмо от той женщины, Георгий...

— Из Сибири?

— У нее — сын. От него. Сыну уже почти год.

— Почему же она сообщила нам только сейчас?

— Ждала, что Сева сам подаст голос. Ну а он, похоже, прятался от нее. Потому и к нам не сразу приехал, что здесь отыскать его легче всего... Выждал, убедился, что нас она не тревожит, решил — пронесло.

Я долго молчал, а Катя продолжала перебирать

вязанье на коленях, выжидающе косилась на меня.

— Когда-то ты его спросила: «Кто тебя так напугал, сын?..»

И Катя вздрогнула.

— Ты считаешь...

— Да, Катя, считаю — страх стал его натурой.

— А от страха и бессовестность?..

— Ты только что слышала, Катя: «Быть благородным, но изувеченным или неблагородным, да целым!» Его кредо. Страшится всего — даже собственного сына.

— Тогда снова тот же вопрос, Георгий: кто?.. Кто его так напугал? Неужели мы?

— Боюсь, что так, Катя.

Это было жестоко, но нельзя же без конца спасаться недомолвками.

— Чем же мы его напугали, Георгий?

— Наверное, тем, что слишком старательно оберегали его от житейских сквозняков.

Катя задумалась.

Он вернулся в самую глухую пору ночи — щелкнул замок, чмокнула дверь. Катя вздрогнула, вскинула голову, вспыхнула — деревянное выражение сменилось суровым.

Вялый, не прикрытый своей защитной улыбочкой, не снимая кожаной куртки, Сева опустился на стул, бескостно ссутулился.

Мать не выдержала тягостного молчания:

— Сева, я боялась, что ты не придешь.

Он дернул головой, как заеденная слепнями лошадь.

— Я пришел... Чтобы услышать, как вы скажете: ты подлец, Сева! А мне это известно... Да! И лучше вас. Я не люблю себя, а временами просто ненавижу. Как сейчас! И до того, как выгнали, ненавидел себя. С той минуты, когда папин каратист, как его... Миша, раскидывал шестерят. Сажу жабой на дорожке, а он за меня управляет. Если б вы видели, как красиво! Эти здоровенные лбы кидаются на него, а он даже не размахивается, касается — и дубина падает. Почему я его продал?.. Да потому что я подонок, мама и папа, ловчу да выгадываю, а потом мучаюсь и ненавижу себя... Вот пришел к вам, знаю, что вы простите. Оклемаюсь, повыветрится — и сам прощу себя... О-о, до чего все гадко!..

— Ты ошибаешься,— сурово произнесла мать.— На этот раз я не прошу. Ни тебя, ни себя!

Сева поднял голову, взгляделся ей в глаза, холодные, недружелюбные, стылые, вяло удивился:

— А себя-то тебе за что... не прощать?

— Испортила тебя я!

— Н-ну, мама... Виновата ли ты, что я такой уродился... бракованный?

— Ты несносно капризничал в детстве, а я любила. Малодушно отступал — я любила. Грубил мне, уродовал себя кофтой с бубенчиками, тешил себя тупым самонадеянием — любила! Да, любила со всей материнской силой и портила тебя с безжалостностью врага!

— Разве ты должна была меня ненавидеть, мама?

— Не тебя, Сева! — с прежней резкостью, с прежним вызовом и с прежним осуждающе-вдохновенным лицом.— Не тебя, нет, а другое в тебе — да, должна была, да, ненавидеть! С той же силой, с какой любила. Как поздно мне открылось, что любовь без ненависти столь же опасна, как и оголтелая ненависть без любви.

Я крикнул, а Сева сник.

— Мне надо куда-то уехать...— выдал он.

— Меня мало заботит, Сева, уедешь ты или останешься. Меня заботит другое — твои долги!

— Какие долги, мама?

— Уж не собираешься ли ты и сейчас мне повторить: «Никому ничего не должен»? Должен мне и отцу за все наши муки и разочарования. Должен таким, как Миша Копылов, которых ты продавал. Ты успел задолжать своему сыну, хотя тот недавно появился на свет...

— Сыну?.. А я и не знал...

— Врешь! Ты прятался от него!

— От нее, мама! Она почти на десять лет старше меня.

— От нее, от людей, от собственной совести! Спрятаться? Куда? В какую щель ты забьешься?

И Сева надолго замолчал, уныло горбился, наконец устало ответил:

— Куда?.. Не знаю. Я сам себе не нужен, мама. А другим уж и подавно.

— Негодяй! Никому не нужен!.. Да зачем же мы столько лет колотимся над тобой?

Снова долгое молчание. Сева беспомощно взглянул на мать.

— Мама, ты веришь?.. Еще веришь, что выкарабкаюсь из бракованных?.. Что могу?..

— Верю, сын. Любая мать неизлечима в этом.

— Мама, а что, если я снова... снова подведу?

И Катя взорвалась:

— Тогда взваться крепче за мою юбку! Пока смогу, пока ноги носят, поведу тебя по жизни. Что делать, когда родила ненормального! Что делать?!

Все это время я молчал, мать расправлялась в одиночку.

Через два дня Сева уехал в Среднюю Азию: «В городе Навои живет приятель, говорит — у них легко устроиться мастером по электрооборудованию». Слабый человек, хочет сбежать сам от себя и верит, что это возможно.

А после Севы стала собираться Катя — в Сибирь, к женщине, обманутой нашим сыном, к внуку.

— Кому, как не матери, отвечать за сына, Георгий.

— Мы можем предложить ей только помощь, Катя. Для этого не нужно ехать так далеко.

— Я должна ее видеть.

И я проводил Катю в аэропорт, остался один в опустевшем доме.

Однако ни от пустоты, ни от одиночества мне страдать не приходилось. Мой штаб заседал теперь у меня — составляли план будущих работ, и тут на передний план вновь выступила Ирина Сушко. Пространные рассуждения, случайные домыслы, произвольная пикировка, которыми мы так дружно угощали друг друга, сменились озабоченным пересмотром математического багажа: чем выразить такую-то зависимость, применимо ли конструктивное направление к общественной структуре, какими уравнениями может быть описан тот или иной процесс...

Ирина Сушко деловито — с учетом использования в будущем электронного оракула — наводила порядок, а вот Толя Зыбков оставался в стороне, потерянно сидел, в обсуждениях не участвовал. Математику он изучал лишь за школьной партой, да и то, по его признанию, «взаимности не наблюдалось». Математика становилась способом нашего мышления, башковитый парень мог выпасть из нашей упряжки.

— Придется изучать, — сказал я ему.

Толя посопел, покряхтел, согласился:

— Придется... Ирина Михайловна, что, если я постараюсь быть примерным учеником?..

— Я плохой педагог, сурочек. Толку не получится, а врагами станем.

— Старик! — неожиданно подал голос Миша Дедушка. — Зачем лезть на рога бешеной антилопе? Я возьму над тобой опеку.

Все эти дни Миша был подавлен и молчалив, ни разу не пошутил, не улыбнулся. Я же переживал приступы саднящей любви к нему, столь же сильной, как сильно было мое презрение к сыну. Не только при встречах, но и оставаясь один, я постоянно помнил Мишу, думал о нем, поражался своей слепоте. Я знал, что люди улыбались при виде его, улыбался сам и не догадывался — он исключителен, от природы наделен редчайшим даром доброты, какого нет ни у меня, ни у моих знакомых, быть может, только у Кати. Я считал его легкомысленным и несобранным — вертопрах, прости господи, — а он разбрасывался потому, что каждый встречный был для него не безразличен, каждому стремился помочь.

Сейчас нам трудно друг с другом. Против воли Миша должен быть насторожен и ко мне. Я не могу избавиться от вины, не смею открыться — моя страдающая нежность вдруг да покажется ему оскорбительной компенсацией за травму.

Миша раньше всех нас понял, в каком незавидном положении оказался Толя Зыбков. Ирина отмахнулась: «Толку не получится», а он сразу пришел на помощь, бессознательно, не задумываясь, как кинулся тогда спасать незнакомого парня. И никто этого сейчас не оценил. Кто удивится щедрости плодоносящей яблони — для того же она и существует на свете, чтобы одаривать яблоками.

— Что ж, давай сомкнемся, — согласился Толя не слишком воодушевленно: Ирина Сушко для него куда более знающий и авторитетный человек.

А Миша Дедушка вдруг раздвинул бороду в улыбке:

— Держись — сяду верхом.

И я возликовал про себя: эге! Такой человек травмированным долго оставаться не сможет, всегда кто-то будет нуждаться в его помощи, а оказать помощь — для него органическое счастье.

Катя не пробывала в отъезде и недели. Я не очень-то удивился, когда в дверях аэропорта увидел ее с мальчиком в красной шапочке на руках.

— Знакомься. Твой внук Сережа.

Бледное личико, насупленный взгляд, надутые губы. Мой внук Сережа, по всему видать, был недавно разбужен, а потому недоволен и миром и сконфуженным дедом. Предложить ему перейти ко мне на руки я не посмел, только спросил:

— Как получилось?.. Или ты чувствовала, что отдаст?

— Чувствовала. По письму...

— У нее беда?

— Нет, просто славная, но неудачливая женщина, которая все еще надеется выйти замуж. Эта-то надежда и помогла убедить... Будет к нам приезжать, будем встречать ее как родную.

— Будем, Катя, будем... Пошли, такси ждет.

Он сразу же показал мне все, на что способен. Он уже пробовал держаться на ногах, но еще не осмеливался сделать свой первый шаг в жизни. Он с неубедительной отчетливостью произносил лишь одно слово «ма-ма»; но несколько раз обратился ко мне с речью, смысл которой остался для меня непостижим. Он оказался крайне непоследовательным — гневно возмущался, что мы опускаем его в теплую ванну, и столь же гневно, что вынимаем оттуда.

Я отнес его, розового и негодующего, в Катину комнату, уложил в простыни на диван, попробовал спеть:

Спят усталые игрушки,
Книжки спят...

Мне не удалось придать своему фальшивому баритону те ангельские интонации, которые каждый вечер изливает для малышей телевизор. Сережа долго крутился и не засыпал...

Он уснул, выкинув из-под одеяла ручонку. Катя гремела на кухне, готовила плацдарм для будущего дня. За окном над грузной грядой сумеречных многоэтажных домов прорезалась одинокая, самая настойчивая звезда.

Внук спал, слабенькая ручонка лежала поверх одеяла. Ему не исполнится и двадцати лет, когда закончится наш пресыщенный событиями век. К тому времени внук еще не успеет ничего совершить, свершить ему суж-

дено уже в веке грядущем, — и только где-то в середине нового века этот человек станет оглядываться на свой пройденный путь.

Моя жизнь показалась бы колдовской моему деду Федосию Степановичу Гребину, по-уличному Федоско Квасичу, не слишком удачливому мужику из деревни Прислон. Мой дед не видывал домов выше двух этажей, хотя и слышал, что бывают даже и четырехэтажные. Мой дед гонял на санях по зимнему накату до пятнадцати верст в час, летал он только во сне, а чтоб, не выходя из избы, устроившись перед ящиком, следить, как гоняют шайбу хоккеисты на той стороне планеты, этого он уже и помыслить не мог. Наверное, столь же фантастичной должна выглядеть и для меня жизнь моего внука. Нисколько не удивлюсь, если он окажется небожителем, на Землю станет спускаться только в гости.

Глядит в окно звезда. Впрочем, это Юпитер притворился робкой звездой. Лишь он смог пробиться на закате сквозь мутный воздух великого города...

Местожителство моего внука, возможно будет выглядеть примерно так же — звезда, да и только. Но при взгляде в бинокль она должна превратиться в золотого мотылька, парящего в траурной пустоте. А в солидные телескопы — в полыхающего многокрылого дракона, устрашающее исчадие космоса. Рано или поздно люди выберут за пределами Земли симпатичную планету и облекут ее в металл, керамику, пластик, раскинут в сторону Солнца драконовы крылья...

Зазвонил телефон. Я бережно накрыл одеялом выброшенную ручонку, встал.

— Слушаю вас.

Голос Алевтины, дочери Голенкова. Ни боли, ни отчаянья в нем — лишь мертвенная усталость.

— Иван Трофимович... час назад.

Я остолбенело молчал.

Светил в окно застенчивый Юпитер.

Час назад... Иван был на год старше нашего идущего на убыль века.

Тендряков В. Ф.

Т 33 Покушение на миражи: Роман.— М.: Современник, 1989.—221 с., портр.— (Библиотека российского романа).

ISBN 5—270—0069—3

Всю свою жизнь Владимир Тендряков мучился вопросами бытия, видел и старался писать бескомпромиссную правду. В романе «Покушение на миражи», который стал одним из последних его произведений, писатель с публицистической резкостью обрушивается на созданные людьми миражи, разрушает иллюзии безмятежной жизни.

Т 4702010200—186
М 106(03)—89 КБ—3—55—89

ББК84Р7

ТЕНДРЯКОВ Владимир Федорович

ПОКУШЕНИЕ НА МИРАЖИ

Роман

Редактор *М. И. Вострышев*
Художественный редактор *Н. Б. Егорова*
Технический редактор *Н. В. Ганина*
Корректор *Е. Д. Очегарова*

ИБ № 5483

Сдано в набор 02.01.89. Подписано к печати 10.04.89. Формат 84x108¹/₃₂.
Гарнитура Таймс. Печать высокая с ФПФ. Бумага тип. № 1. Усл. краск.-
отт. 11,81. Усл. печ. л. 11,76. Уч.-изд. л. 12,30. Тираж 200 000 экз. Заказ 263.
Цена 1 р. 10 к.

Издательство «Современник» Государственного комитета РСФСР по делам из-
дательств, полиграфии и книжной торговли и Союза писателей РСФСР.
123007, Москва, Хорошевское шоссе, 62

Полиграфическое предприятие «Современник» Государственного комитета
РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 445043,
г. Тольятти, Южное шоссе, 30